



Н. Ю. Русова

Книги, ГОДЫ, ЖИЗНЬ

Автобиография
советского читателя

РОСИЯ В
МЕНУАРАХ



Россия в мемуарах

Наталья Русова

**Книги, годы, жизнь.
Автобиография
советского читателя**

«НЛО»

2019–2021

УДК 028(091)(47+57)

ББК 78.073(2)6

Русова Н. Ю.

Книги, годы, жизнь. Автобиография советского читателя /
Н. Ю. Русова — «НЛО», 2019–2021 — (Россия в мемуарах)

ISBN 978-5-4448-2045-2

Как будет выглядеть автобиография советского интеллектуала, если поместить ее в концептуальные рамки читательской биографии? Автор этих мемуаров Н. Ю. Русова взялась поставить такой эксперимент и обратиться к личному прошлому, опираясь на прочитанные книги и вызванные ими впечатления. Знаток художественной литературы, она рассказывает о круге своего чтения, уделяя внимание филологическим и историческим деталям. В ее повествовании любимые стихи и проза оказываются не только тесно связаны с событиями личной или профессиональной жизни, но и погружены в политический и культурный контекст. Важная задача, которую ставит перед собой автор, — это сохранить на страницах книги свидетельство о навсегда утерянной читательской культуре. Наталья Юрьевна Русова — профессор кафедры русского языка Нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы Минина, доктор педагогических наук. Автор книг «От аллегории до ямба: терминологический словарь-тезаурус по литературоведению» (2004), «Текст. Культура. Образование» (2009), «Тайна лирического стихотворения. От Державина до Бродского: комментарий поэтических текстов» (2005), «Кванты русской культуры: культурологический комментарий поэтических текстов» (2008), «Лексикон власти: словарь-тезаурус политических ассоциаций» (2008; с Н. Э. Гронской), «Тридцать третья буква на школьном уроке, или 33 стихотворения Иосифа Бродского» (2009) и др.

УДК 028(091)(47+57)

ББК 78.073(2)6

ISBN 978-5-4448-2045-2

© Русова Н. Ю., 2019–2021

© НЛО, 2019–2021

Содержание

«Но подрастают в семьях дети...»	7
Мои первые книжки	8
Отрочество: в школе и дома	20
Юность и хрущевская оттепель	33
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Наталья Юрьевна Русова
Книги, годы, жизнь. Автобиография
советского читателя

*Светлой памяти моих родителей – Юрия Васильевича и Зои
Ивановны Русовых*

«Но подрастают в семьях дети...» (Вместо предисловия)

Когда пишешь, не страшно¹.

Вот я и на «заслуженном отдыхе». Никогда не думала, что он принесет мне столько спокойной радости. Похоже, что основа для этого чувства – ощущение чистой совести, «сделала что могла». Профессиональный потенциал еще далеко не исчерпан, и в другой социальной ситуации я бы еще поработала. Однако чувство социального унижения последние три-четыре года стало почти нестерпимым. Даст Бог, закончу издание последнего проекта из 7 книг – и на этом профессиональную деятельность завершу.

Конечно, 46 лет работы преподавателем не только дали моральное удовлетворение, но и сформировали потребность в «отдаче потребителя» – нужны глаза и реакция читателя (слушателя). Без них резко слабеет стимул к творческому высказыванию. Сколько замыслов было, сколько я надеялась еще написать... И профессионального, и мемуарного, и публицистического. Все это, пожалуй, не осуществится. Губит доставшийся от отца скептицизм: зачем? кому? да и что я, в сущности, за птица, чтобы претендовать на людское внимание.

И все-таки, все-таки... Нет, конечно, просто события моей жизни вряд ли заинтересуют кого-то, кроме сына. Да и личность свою как предмет для изображения я не переоцениваю. Но вот опыт читателя, опыт одного из последних представителей литературоцентричной Советской России... Это – да, что есть, то есть.

Литература была и осталась моей страстью, это главное, что продолжает меня волновать – кроме судьбы сына. И эмоции мои на сегодняшний день идут в основном от природы (которая сейчас, к счастью, мне доступна в своей первозданности), от людей (по-прежнему невероятно мне интересных) – и от книг, книг, книг... Боже мой, сколько счастья пришло ко мне от книжных страниц. Столько не было даже от путешествий, даже от живописи, даже от науки. И вот этот многолетний опыт чтения, опыт восприятия художественного слова, неразрывно переплетенный с жизненным опытом, – да, это может стать интересным. В сущности, это было бы попыткой запечатлеть очертания уходящей книжной Атлантиды. Ведь по-прежнему «подрастают в семьях дети», их нужно учить, формировать, воспитывать. А книги и разговоры о них – мощнейшее средство.

Откуда цитата? Да из Наума Коржавина, которого я люблю:

*Пусть рвутся связи, меркнет свет,
Но подрастают в семьях дети...
Есть в мире Бог иль Бога нет,
А им придется жить на свете.*

(«Пусть рвутся связи, меркнет свет...». 1959)

¹ Владимир Сорокин в передаче Александра Гениса.

Мои первые книжки (1951–1959)

Первое отчетливо запомнившееся литературное произведение – «Сказка о глупом мышонке» С. Маршака. Ее мне читал отец множество раз – и я, трехлетняя, неуклонно заливалась слезами после его протяжного:

*Прибежала мышка-мать,
Поглядела на кровать —
Ищет глупого мышонка,
А мышонка не видать.*

Тем не менее просьбы прочитать эту сказку возобновлялись снова и снова. Почему? При чем, как теперь вспоминается, горячее сочувствие вызывал не мышонок, столь глупо поплаксивший за свои нескончаемые капризы, а мышка-мать. Так старалась угодить сыночку, так старалась! И в итоге – пустая кроватка.

Думаю, что именно тогда пришло первое ощущение непоправимости совершившегося, сострадание выдуманному герою заставило соприкоснуться с трагичностью бытия. Кстати, если не ошибаюсь, это 1951 год – не самое веселое время и для страны, и для нашей семьи. Маминому отцу, Ивану Николаевичу Павловскому, после отбывания десятилетнего срока в Ухтпечорлаге по 58-й статье еще запрещено проживание в Горьком, и он практически в ссылке – на Дальнем Востоке, в семье младшей дочери, моей тети Ляли. Мама моя из-за репрессированного отца вынуждена перейти с работы вузовского преподавателя на должность завуча в школе.

Вслух мне читали мало: родители много работали, бабушка вела хозяйство. Маме не хватало времени и терпения для озвучивания долгого книжного текста, но она часто и по самым неожиданным поводам цитировала стихи: Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Тютчев, Фет – многих я запомнила с ее голоса. Позже зазвучали Блок, Андрей Белый, Есенин, Твардовский, Симонов, Евтушенко... Любовь к поэзии и мастерство чтения, видимо, были в маминой семье наследственными: когда дед вернулся из ссылки, то часто читал мне некрасовского «Дедушку», переполненного прямыми ассоциациями с его судьбой. Это произойдет позже, а лет до пяти книжные тексты доходили до меня в основном в папином исполнении. Почему-то накрепко запомнился еще один мышонок – «Мышонок Пик» В. Бианки; в противоположность своему глупенькому маршаковскому собрату, он активно боролся за существование, и меня страстно интересовали перипетии этой борьбы.

Следующее отчетливое «книжное» воспоминание – номер детского журнала «Мурзилка», посвященный смерти Сталина. Март 1953 года, я уже умею читать, и для меня выписали «Мурзилку», с которым я обращаюсь вполне самостоятельно. Помню траурное черно-красное оформление обложки и первые строки открывающего журнальчик стихотворения:

*Не поют, не смеются дети,
Не шумят, не глядят в окно,
Точно солнце уже не светит,
Так на сердце у нас темно,
С нами Сталина больше нет,
В черном крепе его портрет...*

(О. Высотская)

Ну и, конечно, портрет Сталина в траурных лентах. Первое смутное ощущение противоречия: в книжке – одно настроение, а дома, у всех домашних – другое. Понятно, что в семье двух «детей врагов народа» (папин отец, Василий Никифорович Русов, тоже был репрессирован, но отделался двумя годами тюрьмы в 1938–1939 годах) смерть Сталина не оплакивали.

Первый эпос в моей читательской жизни – «Золотой ключик, или Приключения Буратино» А. Н. Толстого. До четырех лет я просила читать мне «Буратино» снова и снова, потом без конца перечитывала – уже самостоятельно. Почему же так полюбился именно этот текст? Главное, пожалуй, заключалось в индивидуальности и неоднозначности характеров всех персонажей. Ведь нечто симпатичное было даже в лисе Алисе, даже в Дуремаре. В сущности, и Карабас-Барабас нарисован не полностью черной краской, а где юмористические черточки (борода, которую можно обмотать вокруг дерева, финальная лужа под дождем), там и неосознаваемое сочувствие к персонажу. Почему-то больше всего негатива выпадало на долю Пьеро. Нытье я презирала с тех пор, как себя помню. Это подкреплялось и постоянным маминым «Не ной!» в ответ на мои жалобы (правда, редкие и скоро совсем исчезнувшие) на трудности из-за пониженного слуха (двусторонний неврит слухового нерва доставил мне много бед и сложностей, но также рано научил сопротивлению и упорству).

В Буратино же я была просто влюблена! Обаяние независимости и активного действия – к этим человеческим качествам я питаю непреодолимую слабость до сегодня.

И, наконец, «Золотой ключик» впервые позволил мне осваивать и осознавать жизнь в ее разнообразной протяженности, ощущать прелесть прихотливого сюжета, притяжение интриги, ждущей разрешения. Почему-то интрига в русских сказках, которые я тоже очень любила и хорошо знала, была лишена непредсказуемости – сказочное действие катилось по заранее известным рельсам.

Вторым эпосом (если достаточно условно и широко понимать под последним повествование о событиях, внешних по отношению к автору) стал «Незнайка» Н. Носова. Обаяние этого текста тоже действовало неотразимо: помню, как в школьной библиотеке во время «читательских часов» любимая библиотекарьша целый месяц озвучивала нам, первоклашкам, приключения малышей и малышей из Цветочного города и какая тишина царил в маленьком зале среди книжных стеллажей. А на первом курсе университета мы с друзьями в студенческом общежитии будем устраивать коллективные читки «Незнайки на Луне», и, господи, какой хохот сопровождал носовское изображение капиталистических порядков! Все воспринималось наизнанку – вот вам прямое доказательство неразрывной связи «детской» и «взрослой» литературы, лишь бы и та и другая были со знаком качества.

К моим пяти годам все родственники и друзья знали, что для Наташи книжка – лучший подарок. Прекрасно помню, как во время моего осеннего гостевания в Ветлуге в том же 1953 году одна из моих многочисленных теток подарила мне «Елку в Сокольниках» А. Кононова (замечу, к слову, что теткин отец был расстрелян в годы ежовщины...). «Елка» тоже из первых книг, прочитанных самостоятельно. Замечательные иллюстрации Н. Жукова запечатлели «лучистую улыбку» Ильича, весело подкидывающего вверх малышку около елки. Так началось долголетнее постижение Ленина, преклонение перед которым постыдно долго не покидало меня – вплоть до того, что в 1970-е годы я обзавелась пятитомником воспоминаний о нем, на редкость унылых и безликих. Да, обрабатывали нас умело. Чего стоят темы курсовых работ, которые мы с моим однокурсником писали в первый университетский год, весной 1967 года: я – «Ленин о литературе», он – «Ленин и Горький». Уже тогда мне хватило соображения понять, что Владимир Ильич никакой не филолог (отталкивало, хотя и чем-то привлекало его

панибратски-покровительственное отношение к моему кумиру – Льву Толстому, настаивал примитивизм литературных вкусов), и я добросовестно вчитывалась в «Философские тетради», пытаюсь отыскать там некие путеводные нити для понимания солженицынского «Ивана Денисовича», который в нашем доме занимал одно из почетнейших мест...

На 50-летие Октябрьской революции (1967) мы с моим любимым двоюродным братом Сережей отправились в Питер (Ленинград). Из-за пониженного слуха я накрепко запоминала редкие самостоятельно услышанные фразы на улицах. Ленинградские демонстранты несли – среди множества плакатного официоза – несколько нестандартных ленинских изображений, в том числе известную фотографию с рукой, поднятой к козырьку кепки. «Владимир Ильич приветствует...» – сказала пожилая женщина подруге, сказала тепло, искренне и, конечно, без малейшей иронии.

Да, очень долго развеивался туман этого морока, трудно копились крупинки подлинного знания подлинной истории. В перестроечные годы на советского (тогда еще советского!) читателя хлынул поток разоблачений культовой ленинской жизни и личности. На моих книжных полках встанут и обстоятельные, объективно отстраненные, но кровоточащие тома Д. Волкогонова, и неистовый Владимир Солоухин, и яростная Дора Штурман. Но больше всего поразят впервые ставшие доступными тексты самого Ленина, его приказы, распоряжения и записки 1918 и 1919 годов: эта непостижимая жестокость, кипящая ненависть, высокомерное пренебрежение к конкретным человеческим судьбам и одержимость утопической мечтой о «Земшарной республике советов»... При знакомстве с разоблачительной книжной лавиной мне вспомнятся известные с дошкольных лет эпизоды с кудрявым Володей Ульяновым, например тот, когда он, спрятавшись в укромном уголке, последовательно откручивает все четыре ноги только что подаренной деревянной лошадке. В нашем детстве сие интерпретировалось как похвальный исследовательский интерес к окружающему.

Чего я и сейчас не могу принять в антиленинской литературе, это легкомыслия и цинического зубоскальства. Личность Владимира Ильича представляется слишком крупной и трагической, смысл и предназначение его жизни не сводятся к одному разрушению; в конце концов, не будем забывать о том, насколько значима для истории и судьбы России эта фигура.

До сих пор помню сюжет и пафос «Голубого винтика» (1955) А. Донченко, прочитанного еще до поступления в первый класс. Дошколятам из детского садика устраивают экскурсию на тракторный завод – из-за детских споров, кто из их родителей главнее для изготовления тракторов. Мама главной героини, Софийки, ввинчивает на конвейере последний по счету крохотный винтик, но без него трактор не двинется с места. Девчушка торжествует: вот какой важный винтик вкручивает в трактор мама!

Ну почему доньше помнится эта, в сущности, не самая умелая прививка тоталитарного сознания? Неужели уже тогда в детском подсознании таился протест – люди (я, мама, папа, бабуся, дедушка) вовсе не винтики? И смешно гордиться такой «винтичной» причастностью? Нет, конечно. А вот помнится до сих пор, помнится со стыдом и жалостью. Уже на склоне лет я буду рассказывать своим студентам об этих детских впечатлениях, и аудитория затихнет и задумается.

На пороге школы был прочитан и Гайдар. После «Сказки о Мальчише-Кибальчише», с ее революционной романтикой, льющейся из ритмизованных фраз и буквально завораживающей маленького читателя, наступила очередь интригующей, строгой и сдержанной «Судьбы барабанщика». Кстати, в этой повести, написанной в страшном 1938 году, запечатлены не столько пафос поиска врагов и страх перед их возможным присутствием в твоей жизни, сколько одиночество и сиротство подростка, потерявшего по воле несправедливой и непонятной силы самых близких людей и вынужденного самостоятельно нащупывать необходимые нравственные опоры. В 2000-е годы я прочитаю о «стране Гайдара» в воспоминаниях Б. Сарнова «Скуки

не было», порадуясь его влюбленности в этого писателя и в очередной раз приду к выводу о неисчерпаемости подлинно художественных текстов – попросту говоря, о необходимости и плодотворности их многократного перечитывания.

Я росла в гуманитарной семье: отец – психолог, мама – филолог. Неудивительно, что Пушкин сопутствовал мне буквально с младенчества, тем более что мамина кандидатская диссертация была посвящена его романтическим поэмам. Сказки Пушкина для меня в три-четыре года еще не имели авторства, сливаясь с общим «сказочным» потоком. Но вот в последнее дошкольное лето в лесу на Свято-озере (где наша семья вместе с семью-восемью другими проводила отпуск в палатках – и эти отпуска стали одними из драгоценнейших жизненных впечатлений) мама в ответ на мои нескончаемые просьбы «что-нибудь рассказать» говорит: «Ну хорошо, хочешь, расскажу тебе о дяде и тете, которые любили друг друга?» И читает мне «Онегина» в отрывках – с письмом Татьяны, с дуэлью, с письмом Онегина, с финальным объяснением. Свое потрясение помню до сих пор. К тому же читала мать изумительно, лучшего чтения я в своей жизни не слышала. Когда мы вернулись в город, я потребовала себе «Онегина» полностью. И прочитала взахлеб. Больше всего подействовала, конечно, волшебная красота и легкость стиха. И – Татьяна. Лет шесть после этого (до 12 лет) она – моя любимая героиня. Я кинулась тогда и к биографии Пушкина (помнится, у нас был синий томик Н. Л. Бродского 1937 года издания). То, что его жизнь, в сущности, прекрасное произведение искусства, видимо, интуитивно ощущалось, потому что перечитывала я эту биографию (написанную вовсе не детским языком) снова и снова. Классе в восьмом отец принесет мне из библиотеки Пединститута увесистый вересаевский двухтомник «Пушкин в жизни» – и, боже мой, до чего величественной и в то же время близкой казалась его фигура!

А когда я училась в четвертом классе (1958), мама ведет меня в кино – вышел фильм «Евгений Онегин» по опере Чайковского. Слух мне тогда еще позволял воспринимать музыку, и Чайковский, конечно, сразил наповал, вплоть до того, что я пыталась перед домашними разыгрывать сцену с няней...

Мама, кстати, сначала посмотрела фильм без меня, и как я помню ее восторженные восклицания: «Наташка, какая Татьяна! Какой Ленский!» Живая непосредственность эмоционального отклика – вот что пленяло в ней прежде всего. Она была главным человеком моей жизни, боль от ее безвременного ухода в 59 лет (1979) со мной до сих пор. Ее суждения стали камертоном для всех моих тогдашних и последующих этических оценок. Любовь к книгам, природе, постоянный интерес к людям – все это от нее. Она знала о неизбежности своего преждевременного ухода и очень тосковала после второго инфаркта, спровоцированного диабетом. «Все хорошо, Наташа, но мало, мало...» А я пыталась утешить ее Твардовским, чьего «Теркина» она очень любила и часто читала вслух отдельные главы:

*Не о смертном думай часе,
В нем ли главный интерес?
Смерть – она всегда в запасе,
Жизнь – она всегда в обрез...*

Потом, видимо, мама внутренне смирилась, и мужество ее последних двух лет поражало даже врачей. Накануне смерти мы с папой и братом поговорили с ней через окно реанимационной палаты интенсивной терапии – она улыбалась. Отец не успел утром к ней в больницу, она ушла без него, он опоздал буквально на несколько минут, но упросил врача пустить его к ней. Тот разрешил – мама улыбалась...

Дома потрясенный отец сказал мне: «Как она улыбалась... Фантазия!»

Воспоминания затягивают в себя, как в воронку: слишком многое всплывает перед листом бумаги... Но попробую все-таки придерживаться взятого направления.

Так вот, «Онегин». Он со мной до сих пор, знаю его чуть ли не наизусть. В детстве домашние смеялись над моей влюбленностью в Татьяну, особенно иронизировал над этим «романтизмом» Сережа, которого я безуспешно старалась заразить и портретом, и письмом, и благородством пушкинской героини. Но вот классе в шестом до меня стала доходить ирония Пушкина, его бесстрашие в изображении пошлости и трагизма жизни – и Сергей начал прислушиваться ко мне:

*Она ездала по работам,
Солила на зиму грибы,
Вела расходы, брила лбы...
и т. д., и т. п.*

А потом, потом... В юности я всей кровью почувствую, что нет лучшего изображения всепоглощающей страсти, как в письме Онегина:

*Нет, поминутно видеть вас,
Повсюду следовать за вами,
Улыбку уст, движенье глаз
Ловить влюбленными глазами...*

Это гениальное «глаз – глазами»...

Да, много, много было моих «открытий» в этом неувядаемом, волшебном, бездонном тексте. А сейчас... Сколько мужества мне придает последняя строфа:

*Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел ее романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим.*

В зрелые годы я познакомлюсь со знаменитыми комментариями В. Набокова и Ю. Лотмана к «Евгению Онегину», причем безоговорочно отдам пальму первенства Юрию Михайловичу – первенства интеллектуального, эмоционального, читательского. А в 2020-м с восхищением прочитаю «Немого Онегина» Александра Минкина, отчаянно смелый, непривычный, остроумный и местами очень глубокий «роман о поэме». Пушкинскому тексту скоро исполнится 200 лет, а он не просто остался живой и неотъемлемой частью сознания почти каждого русскоговорящего, но до сих пор вокруг него кипят мысли, эмоции, страсти, ассоциации, до сих пор он загадка для внимательного читателя.

Мое детство – это послевоенные годы, 1948–1955. Отец не только прошел Великую Отечественную «от звонка до звонка», но и участвовал в «освобождении» Прибалтики (был в армии с 1939 года). Многочисленные военные герои и книги о них сопровождали меня до 1960-х годов. И почему-то ничто так не запало в детскую душу, как скромный томик в бумажной обложке цвета хаки: «Повесть о сыне» Е. Н. Кошевой. Почти сразу же я прочла «Молодую гвардию» А. Фадеева, но эмоционального потрясения практически не последовало. Записки Елены Николаевны покоряли безыскусственностью, не подчеркнутым, не надрыванным, но тем сильнее хватающим за сердце материнским горем, гордостью за так жданного и любимого единствен-

ного сына. Донеда помню строчку оттуда (жаль, книжка затерялась): «Мой сын, которому не было и 16 лет, лежал передо мной седой...»

Конечно, было преклонение перед подвигом, было тайное допрашивание себя: «А я смогу?» Но запомнилось мне и первое в жизни сопоставление книги и похожей действительности, «лично знакомой и известной». Дело в том, что растила меня лет до восьми Кока – старшая сводная сестра бабуся, маминой матери. Елена Алексеевна Чупрунова – Кока – очень меня любила (кстати, она первая указала матери на мой физический недостаток: «А Наташка-то не слышит!»). Но жизнь ее сложилась трагически: рано овдовев, всю любовь и надежды она отдала единственному сыну, Коле Чупрунову. И когда он пропал без вести в первый же год войны, Кока не выдержала – начала пить. К моим семи-восемью годам жить в нашей семье ей стало не по силам, и она ушла «на квартиру», где вскоре и умерла. Помню, как она, пьяненькая, подходила к каменным воротам в наш двор и подзывала меня «поговорить». Я подходила, но пьяных я страшно боялась, и свидания эти были мучительными.

В разговорах с мамой я, как могла, защищала Коку, и однажды мама, не выдержав, бросила: «А помнишь Елену Николаевну? Какого сына потеряла! Но ведь не доходила до такого...» Только довольно долгое время спустя я нашлась, что ответить. Горе Е. Н. Кошевой было «на миру», сын ушел признанным героем, ее, как могли, поддерживали все – и официально, и неофициально.

Да, «Молодая гвардия»... И роман Фадеева, очень популярный, кстати, входивший в школьную программу, – его не просто читали, его герои были любимыми для множества моих сверстников: для кого – Олег (как для моей ближайшей студенческой подруги Сони), для кого – Сережка Тюленин, для кого – Уля Громова. Позже, много позже откроются светлые и темные тайны краснодонского подполья, я буду увлеченно и взволнованно отыскивать разные подробности, но святость этих подростков для меня очевидна и незыблема до сих пор. Кстати, в детстве я одолевала чудом сохранившийся в нашем доме первый вариант фадеевского романа, и накрепко запомнилась его стремительная компактность и эмоциональное единство. Очень жаль, что растрепанная книжка в бумажной обложке не сохранилась – конечно, последующая переделка «Молодой гвардии», выполненная по сталинскому велению, сильно ее ухудшила.

Чего я только не перечитала в те годы о войне! Запомнилась «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого (она входила в учебную программу по литературе для четвертого класса), «Повесть о Зое и Шуре», написанная их матерью, Л. Космодемьянской, «Это было под Ровно» Д. Медведева – о легендарном разведчике Николае Кузнецове. Были еще бесчисленные биографии молодых героев – Саши Чекалина, Лизы Чайкиной, Александра Матросова. Свидетельствую: послевкусие художественности осталось только после романа Фадеева. А уж такие вещи, как, например, прочитанный несколько позже и знаменитый в свое время «Таранул» Г. Матвеева, отталкивали, помимо голого примитива словесной ткани, откровенной фальшью, резавшей даже детское ухо. В помянутом пухлом детективном томе повествовалось о поимке фашистского агента в блокадном Ленинграде, причем все муки голода, мороза, обстрелов были не просто затушеваны – отсутствовали напрочь. А я прекрасно помнила страшные рассказы своего двоюродного дядьки, привезенного к нам в Горький из Питера поздней осенью 1941-го, бабушкин ужас перед его тогдашней худобой и сетования на то, как трудно было его накормить – ел он беспрерывно.

Что-то, наверное, осталось от беспорядочного поглощения таких разных по художественному качеству текстов. Главное было, как видится сейчас, в нравственной безусловности описанного в них действия. А мужество и сила характера – что ж, они необходимы слишком во многих жизненных ситуациях, а книжки воспитывали по крайней мере уважение к этим чертам.

К моим семи годам томики, попадавшие мне в руки, никто уже не контролировал, я безнаказанно рылась в глубинах всех полок родительского книжного шкафа. Жуткое впечат-

ление от некоторых страниц фурмановского «Чапаева», тех, где описываются издевательства белых над пленными красноармейцами, стоило мне первой детской бессонницы. На этих страницах была правда, которая не просто обжигала, но физически отталкивала от человеческой жестокости. Тогда, кстати, состоялось в моем сознании еще не отрефлексированное столкновение двух реализмов: Фадеева и Фурманова, столкновение правды художественного вымысла (пусть и частичного) – и правды факта.

При всей уже в дошкольном возрасте сформировавшейся любви к поэзии не могу обнаружить никаких оставшихся в детской памяти стихов о войне, кроме, пожалуй, симоновского «Сына артиллериста» (которого я и сейчас рекомендовала бы включать в школьные программы для младших классов – мальчишкам приключения Ленки гораздо ближе, чем пейзажная лирика) да совершенно забытого ныне стихотворения М. Исаковского «Слово о России». Существенно, что на наших школьных уроках слово «Россия» было из текста изгнано и всюду заменено «Отчиной»:

*Советская Отчина,
Родная наша мать!
Каким высоким словом
Мне подвиг твой назвать?..*

Искренность текста, созданного в 1944 году, казалась несомненной, и это действовало. А все-таки трудно поверить, что той же рукой написана одна из самых гениальных песен о Великой Отечественной – «Враги сожгли родную хату...»

Русские народные сказки (и не только русские) были моим постоянным чтением класса до четвертого, да и позже я их с удовольствием перечитывала. Многие сборники помню на глаз, на ощупь, на запах. Трудно сформулировать причины этого пристрастия, тем более что и «взрослого» чтения в эти годы было предостаточно. Особенно привлекали сказки волшебные, насыщенные приключениями, «неведомым и невиданным». Нравилось разнообразие сюжетных узоров, вышитых по единой канве, но всякий раз по-разному, гармоничное сочетание нарратива и языка, психотерапевтический эффект благополучной развязки, и главное, пожалуй, пленяли характеры центральных персонажей – Ивана-дурака, Василисы Премудрой, Бабы-яги. Формировались первые представления о противоречиях национального характера: внешнее может (чуть ли не должно!) противоречить внутреннему, придурковатость оборачиваться красотой и удалством, лень и растяпистость – способностью к подвигу и упорством, женщина может (и должна!) быть умнее и сильнее мужчины, стать его опорой и надеждой...

К сожалению, сказки с элементами абсурда дойдут до меня много позже – в моем детстве они попросту были недоступны, за исключением великолепных текстов К. Чуковского – «Путаницы», «Крокодила» и прочих. Д. Хармса и Н. Олейникова я буду читать уже в 1980-х своему сыну, радуясь его ненасытному веселому удовольствию. Гениальная «Алиса» Л. Кэрролла войдет в мой читательский пантеон навсегда, так же как многие песенки В. Высоцкого, которые он написал для радиоспектакля «Алиса в Стране чудес», очень популярного в мои студенческие годы. Доныне в сложных ситуациях напеваю:

*Зачем, зачем, сограждане, зачем я Кролик – белый?!
Когда бы был я серым – я б не бегал, а сидел...*

И аккомпанементом к нынешним воскресным телепередачам вспоминается хрипловатый баритон:

*Падайте лицами вниз, вниз!
Вам это право дано:
Пред Королем падайте ниц, —
В слякоть и грязь – все равно!..*

Когда на лекциях мне понадобится проиллюстрировать волшебную силу грамматики, на помощь придет Кэрролл (в замечательном переводе Н. Демуровой):

*Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове...*

Как ни странно, первые школьные годы не принесли значимых перемен в круге моего чтения, наверное, потому, что он и так был достаточно велик и расширялся по другим причинам. Разве только упомянуть довольно стойкое, с третьего по пятый класс, увлечение астрономией? Ему способствовало постоянное посещение детской библиотеки, которая располагалась рядом с нашим домом, на соседней улице, и куда я, конечно, ходила самостоятельно. Помещение ее и лица приветливых библиотекарей помню до сих пор. Они никогда не ленились поговорить с ребенком, искренне (дети это чувствуют всегда) заинтересоваться его мнением о прочитанном, посоветовать новую книгу. Я перечитала все, что там было «астрономического», и не фантастику, а научно-популярную литературу. Отчетливо помнится увлекательнейшее «Солнечное вещество» М. Бронштейна – и как отзовутся эти детские впечатления, когда уже в 2000-е годы я прочитаю трагический «Прочерк» Л. К. Чуковской о своем расстрелянном муже.

Одним из аппетитнейших кусков моего книжного пирога оказались романы Ж. Верна: «Дети капитана Гранта», «20 тысяч лье под водой», «Таинственный остров». Впервые открылась огромность мира (я даже рисовала на глобусе маршрут экспедиции Гленарвана) и реальные подробности постоянной битвы за существование. Кроме того, до кончиков пальцев проникало редкое удовольствие «делания», которым пропитан «Таинственный остров» – пожалуй, одно из лучших пособий для воспитания радостного трудолюбия. Помню еще чувство счастливого удовлетворения: оказывается, плохих людей (таких, как Айртон) в мире очень мало – по пальцам пересчитать (да и те могут исправиться).

Вопреки младенческой влюбленности в сказочных мышат, книги о животных не стали для меня настольными, но многие герои рассказов Э. Сетон-Томпсона запомнились надолго – такие, как гордый лис Домино, непобежденным уплывающий на льдине навстречу своей вроде бы неизбежной гибели. Звери всегда казались мне самодостаточным объектом художественного изображения, а не вспомогательным средством для разоблачения человеческих пороков. Поразившая многих в 1971 году повесть Г. Троепольского «Белый Бим Черное ухо» (в которой автор, по его признанию, надеялся высказать все, что он думает о советском обществе) тронула, но не слишком: в тексте не хватало, как ни странно, самого Бима, его собачьей души. Той души, которая сквозила в каждой строке многократно читанного произведения моего детства – повести Д. Лондона «Белый клык».

Обычный круг детского чтения: сказки, путешествия, научпоп. В четвертом классе подошла очередь детективов: подружка дала прочитать «Собаку Баскервилей». До сих пор считаю повесть Конан Дойла «лучшим детективом всех времен и народов». Она да еще несколько позже за одну ночь проглоченный «Лунный камень» У. Коллинза на всю жизнь прививают мне

страсть к мастерски написанным историям розыска, и уже в зрелом возрасте я от души соглашусь с восклицанием Ахматовой: «Ночь с детективом – это прекрасно!» Лучшего средства разрядки, интеллектуального отдыха, отвлечения от мелких бед и неприятностей просто не знаю (крупные бедствия – другая статья). Вот только детективы обязательно должны быть «со знаком качества»: с увлекательным и нестандартным сюжетом, аппетитными подробностями, живым, ярким и ненавязчивым языком. С первыми прочитанными детективами мне повезло, я получила пожизненное противоядие для отторжения низкопробного чтива, какой бы закрученной ни была соответствующая интрига, и все советские истории «про майора Пронина» и кагэбэшников с усталыми добрыми глазами равнодушно пропустились.

Нет, если автору удастся вылепить обаятельного и узнаваемого главного героя и создать пусть не особо правдоподобный, но уютный мир сыщицкого розыска – такие вещи читать можно. До сих пор отдаю должное Аркадию Адамову, Николаю Леонову, Александре Марининой, Полине Дашковой. Но это, пожалуй, и все. Зарубежные детективы, коими полны современные прилавки, отталкивают количеством усилий, которые необходимо приложить для вживания в незнакомую и чужую действительность: тем самым теряется главная функция этой литературы – функция отдыха.

Как появлялся вкус к литературе реалистической, моделирующей мир в тех событиях, портретах и подробностях, которые позволяют соотнести с книжными страницами себя, близких, окружающее? К девяти-десяти годам формируется страстное желание прочитать в книге о себе, о своих подругах, о школьном бытии, его всевозможных перипетиях – и начинаешь искать на библиотечных полках хоть что-то похожее. Отлично помню читанные-перечитанные находки того времени: «Старшая сестра» Л. Воронковой, «Васек Трубачев и его товарищи» В. Осеевой, «Октябрина» Р. Облонской, «Семнадцатилетние» Г. Матвеева.

Истории взросления необходимы ребенку, как хлеб. Да, хлеб оказывался не всегда первосортным, но он был и поглощался с завидным аппетитом. Впрочем, очень быстро эта пища перестала меня насыщать: слишком значимым обстоятельством стало качество художественной ткани. (Радостным исключением окажется трилогия А. Я. Бруштейн, но о ней несколько позже.)

Еще из опыта детского (до одиннадцати лет) «реалистического» чтения благодарно вспоминаются романы Г. Мало «Без семьи» и В. Каверина «Два капитана». Все-таки без интригующего сюжета детская книга состояться не может, а от обоих романов оторваться просто невозможно. Сочувствие и сопереживание обездоленному Реми (главному герою Мало) запомнились еще Марине Цветаевой (смотри в ее воспоминаниях «Мать и музыка»), а обаяние действия во имя страны, которым пропитаны страницы каверинского текста, живо в сердце до сих пор. Каверин доньше один из самых любимых мною советских писателей – думаю, из-за юношеской чистоты его души, которую он сумел сохранить незапятнанной. Строгая и пылкая страстность его моральных оценок заставляет меня вновь и вновь перечитывать мемуарные «Освещенные окна» и «Эпилог». При чтении полного сдержанного трагизма повествования о судьбе любимого старшего брата, замечательного медика и биолога Л. Зильбера, отбывшего срок в сталинских лагерях, сжимает горло. Очень люблю повесть «Перед зеркалом» о художнице Лизе Тураевой; на мой взгляд, редко встречается в нашей литературе столь проникновенное постижение творческой женской души и ее неукротимого стремления сохранить себя живой и действующей.

Возвращаясь к «Двум капитанам», не могу не упомянуть, какое неизгладимое впечатление произвела на меня надпись, сделанная «летчиком Ч.» на собственной фотографии, подаренной Сане Григорьеву: «Если быть, так быть лучшим». Кстати, в Нижнем в начале Верхне-Волжской набережной красуется великолепный памятник Чкалову, на котором выбито: «Вели-

кому легчику нашего времени»; у его подножия я не раз разъезжала на трехколесном велосипеде. Памятник превратился в один из символов нашего города. Но это к слову. Дело в том, что помянутая надпись на фотокарточке стала моим девизом, долгое время я старалась следовать этому призыву. Сие повышенное внимание к собственной социальной успешности было вызвано вовсе не честолюбием, не стремлением услышать лишнюю похвалу. Все и проще, и сложнее: из-за моего физического недостатка (о котором я уже писала) возникало стремление найти какую-то компенсацию – отсюда и девиз...

Позже, на младших курсах университета, нам начнут преподавать латынь, и от чеканных афоризмов просто разбегались глаза. Впрочем, я стану равнодушной к выразительным изречениям на всех языках, буду выписывать их, выискивая в соответствующих сборниках, и соревноваться с друзьями в кропотливых поисках. Но латинский язык придавал этим крупицам мудрости нечто чарующее. Любимым на долгие годы (пожалуй, до сегодняшних дней) стало следующее:

Navigare necesse est, vivere non est necesse.

Плывать по морю необходимо, жить не так уж необходимо.

С годами смысл этого изречения открывался все глубже. Главное – плыть! Попросту в жизни всегда должно присутствовать творчество. Если этого нет, жизнь теряет смысл. А значит, и необходимость.

Творчество... Вопрос еще и в том, какое, для кого, зачем. Вышивание, рукоделие, садоводство, домашнее хозяйство – тоже ведь творчество или хотя бы повод для него. В конце концов, даже подготовка к преступлению может носить творческий характер. Чувствовать в себе сжигающую тебя энергию и не знать, к чему ее приложить, – мучительная штука. Выбор достойной и нравственной цели – это и есть основная задача юности.

С течением времени острота этих вопросов смягчается. К тому же для женщины в качестве выхода всегда остается ребенок – как главная ее творческая задача.

Наконец, с годами все отчетливее понимаешь, как трудно до конца сохранять обычную человеческую порядочность. И проникаешься мудростью изречения, которое в далеком детстве процитировал мне любимый дед Иван Николаевич Павловский, отвечая на вопросы шутиливой Марксовой «Исповеди»:

Живи и жить давай другим.

Забегая вперед, не могу не упомянуть о девизе одного из моих любимых литературных героев – Антуана Тибо из романа Роже Мартена дю Гара. На его печатке было вырезано: *Stabo! – Устою!*

«Откуда я? Я из моего детства...»

Каждый, наверное, может отнести к себе эти слова Сент-Экзюпери. Еще одну вечную и лучшую характеристику детства сформулировал Пастернак:

О детство! Ковши душевной глубин!

О всех лесов абориген...

(«Клеветникам». 1917)

Повинуясь покоряющему таланту Льва Толстого, мы привыкли считать детство самой счастливой порой человеческой жизни. Не уверена, справедливо ли это. Самая значимая пора – так, пожалуй, будет точнее. Утверждение, что в детстве все переживается много острее, что

первые радости с лихвой заполняют отпущенный нам резервуар оптимизма, а первые обиды и горести оставляют пожизненные рубцы, стало в обыденном сознании чуть ли не аксиомой. Но мир воздействует на формирующуюся личность значительно сильнее в тот период, когда полученные впечатления начинают осознаваться, когда рождается и крепнет рефлексия, то есть в отрочестве и юности. А вот богатство восприятия, немислимое множество загадок, чуть ли не ежедневно перед тобой возникающих, тех загадок, которые разгадываешь всю последующую жизнь, – это и есть главная и неповторимая особенность детства. О ней и написал Пастернак.

Еще одну важнейшую сторону детского бытия подметил Маяковский в хрестоматийных и стершихся от повторения строчках:

*Крошка сын к отцу пришел,
И спросила кроха:
– Что такое хорошо
И что такое плохо?*

(«Что такое хорошо и что такое плохо»)

Убеждена, что именно детство закладывает этические начала личности. Ребенок всегда, осознанно или нет, стремится получить одобрение окружающих: родных, близких, незнакомых, взрослых, сверстников, даже собаки или кошки. Оно жизненно необходимо малышу, с его уязвимостью и беспомощностью, и в характере этого одобрения кроются, на мой взгляд, главный секрет и главная трудность воспитания: формирование этического камертона, к которому потом всю жизнь прислушиваешься.

Конечно, каждая семья, каждый взрослый, имеющий дело с детьми, настраивают этот камертон по-своему, ориентируясь на собственные тона и ноты. Что касается меня, то определяющими в моем общении с сыном были две ценности: во-первых, сострадание ко всему живому и, во-вторых, отчетливое признание того неоспоримого, но, к сожалению, далеко не очевидного факта, что ты – любимый, любящий, обласканный – не центр и не пуп мира, что окружающие тебя близкие и дальние тоже имеют право на свой кусок счастья и покоя...

В сущности, немного. Но этого было достаточно.

И еще одно: количество и качество времени, которое мы – взрослые – уделяем ребенку. Количество и качество нашего общения с ним. Общения самого разного – пусть будут не только и не столько разговоры, сколько совместное действие, поездка, игра, даже молчание. Никакие подарки и материальные блага не заменят подобной школы социальных, этических, культурных навыков.

В этом плане у меня было самое счастливое детство, какое только можно представить. Оно подарило мне не исчерпанный до сего дня запас оптимизма, веры в жизнь и принятия ее. Дружба с родителями – ценность, не подлежащая девальвации, и я обладала ею в полной мере.

Чего стоили хотя бы наши с братом путешествия в широкую родительскую кровать по утрам в выходные дни! Сколько было шуток, песенок, стихов, поддразниваний, кувырканий, серьезных и проказливых признаний! Совместные завтраки и обеды, семейные праздники, «взрослые» вечеринки, с которых нас никогда не прогоняли. Все свои отпуска родители проводили с нами, и эти летние дни превращались в кладовую всевозможных общих впечатлений.

«Воспитания» как такового просто не было. Были редкие, но всегда нужные, уместные и честные оценки поступков и проступков. И была постоянная уверенность: тебя поймут. Может быть, не в силах будут помочь, но поймут обязательно.

Кто из наших классиков лучше всех написал о детстве? Общепризнанные вершины принадлежат двум Толстым (Льву и Алексею), С. Аксакову, И. Бунину, И. Шмелеву – я имею в виду «Детство. Отрочество. Юность», «Детство Никиты», «Детские годы Багрова-внука»,

«Жизнь Арсеньева», «Лето Господне». Печально, что в силу устаревания бытовых деталей и слишком обстоятельной манеры письма эти книги сейчас почти не читают. А жаль: в них сосредоточен неисчерпаемый запас оптимизма, любви и светлой ностальгии, чего так недостает, скажем, «Детству» М. Горького, который, по-моему, так никогда и не ощутил себя ребенком.

Радостное богатство детского восприятия мира с пронзительной выпуклой красочностью запечатлел В. Катаев в своей повести «Белеет парус одинокий». Сочувствие и сопереживание – эти важнейшие качества воспитывают такие любимые тексты моего детства, как «Гуттаперчевый мальчик» Д. Григоровича, «В дурном обществе» и «Слепой музыкант» В. Короленко (в последнем произведении присутствовал и немаловажный «отрицательный» урок – эгоцентризм Петра, больно поразивший меня в свое время). А лучшая характеристика детской да и всечеловеческой этики содержится, конечно, в «Маленьком принце» А. Сент-Экзюпери.

Пора, однако, оторваться от сей неисчерпаемой темы. Напоследок замечу только, что значимым последствием такого погруженного в книги детства, как мое, оказалось непоколебленное до сей поры убеждение: литература – важнейшая часть как окружающего мира, так и моего собственного существования. И мало что сравнится с ней по степени необходимости.

Отрочество: в школе и дома (1960–1963)

Отчетливо помню событие, с которого кончилось детство и началось отрочество, другими словами, осознание себя как отдельной личности: это мое месячное пребывание в больнице в январе 1960 года (мне одиннадцать лет) с миокардитом. Родителей не пускали даже с краткими посещениями, разрешали только записки и передачи. К тому же именно в это время мне пришлось надеть очки. Сознание собственной ущербности, непоправимого отличия от других было очень болезненным, следовало как-то справиться с этим. Как всегда, помогли книги. Я подружилась с самой старшей девочкой в палате – Тэла училась уже в девятом классе, но нам всегда было о чем поговорить. Она как раз недавно прочитала «Овода» Э. Л. Войнич, ее рассказы меня заворожили, и вот после выписки она вручила мне долгожданный томик.

Артур Бертон, Феликс Риварес, Овод стал одним из любимейших моих героев. Преодоление себя, собственного страдания, мужество сопротивления обстоятельствам во имя большой цели – все это сыграло огромную роль для становления еще детского характера, потребовало ставить перед собой значимые и нелегкие задачи. В сущности, Оводу я обязана и своей золотой медалью, и красным дипломом, и упорством в научной работе. А еще надолго заворожила тайна личности, обаяние и неразгаданность характера. Неосознанно я пыталась подражать ему даже в мелочах, интригуя подруг своими фантазиями и выдумками. Предсмертное письмо Овода к Джемме помню до сих пор наизусть:

Дорогая Джим!

Завтра на рассвете меня расстреляют. Я обещал сказать вам все, и если уж исполнять это обещание, то только сейчас. Впрочем, к чему пускаться в длинные объяснения? Мы всегда понимали друг друга без лишних слов. Даже когда были детьми...

(Перевод Н. Волжиной)

Сколько слез я пролила над этим письмом. Спустя некоторое время мама раздобыла томик Э. Войнич с обоими романами о Риваресе («Овод» и «Прерванная дружба») и подарила мне с такой надписью: «Наташа! Дарю тебе твою любимую книгу, над которой мы вместе плакали. Но больше слез не нужно – мужество и борьба!»

Как мать понимала меня, и сколько мужества понадобилось ей самой, чтобы не унижать мое детство и отрочество бесплодным сожалением и бесполезным сочувствием к моим болячкам. Хотя иногда отчаянно хотелось, чтобы тебя пожалели. Но именно этой мудрой жесткости я обязана тем, что окружающие никогда не считали меня инвалидом, что я всегда оставалась «на коне» в жизненных ристалищах.

Слезы над книгой... Счастлив ребенок, счастлив взрослый, испытавший это. Помню, как мама несколькими годами позже озабоченно жаловалась мне, что Коля (мой младший брат) не плачет над книгами, и с каким торжеством мы обе заметили его первые слезы над «Поднятой целиной», когда гибнут Давыдов и Нагульнов.

Трудно, почти невозможно осваивать эмоциональный опыт человечества вне искусства. Да и собственные унижения, беды, горести преодолеваются не то что легче, но как-то сдержаннее и успешнее, когда сформировано в твоей душе пространство героев, событий, строчек, звуков, картин.

Повлиял на меня и культовый советский роман «Как закалялась сталь» вкуче с канонизированной биографией его создателя – Николая Островского. Но в гораздо меньшей степени. Впервые зарождается мысль, что есть писатели и поэты «от Бога», а есть – «от биографии». Необычайность прожитого, интенсивность пережитого, подлинность и глубина чувства могут заставить человека весьма средних способностей и таланта создать значимое произведение. Такое впечатление у меня по сию пору держится от цикла «С тобой и без тебя» Константина Симонова и от некоторых стихотворений О. Берггольц (да простит меня Ольга Федоровна, чей талант, безусловно, крупнее, мощнее, трагичнее симоновского).

Кстати, на пороге XXI века обнаружится (не знаю, правда, насколько это достоверно), что почти вся героическая биография Н. Островского – его выдумка. Но для меня главным в этой фигуре остается несомненный факт единоборства с ужасной болезнью, лишившей его зрения и движения. В сущности, этого достаточно.

Роман Войнич заставил ощутить (пока еще не осознать) мощь и трагедию атеизма. Ведь подлинный атеизм обрывается с не меньшим трудом, мукой и страстью, чем подлинная вера. Человек от рождения гораздо более склонен к вере, нежели к безверию. Долгое время спустя, когда я уже познакомилась и с Ветхим, и с Новым Заветом, любимой строкой из Евангелий оставалась следующая:

Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин!

Я и сейчас не верю в любовь и сочувствие Христа, Яхве, Аллаха – любого божества – к людям, к человечеству. Вряд ли человечество в целом этой любви заслуживает. Любопытство – да, оно вполне может быть им (богам) свойственно:

*Бог нашей драмой коротает вечность —
Сам сочиняет, ставит и глядит.*

(О. Хайям, пер. И. Тхоржевского)

Возможно, именно поэтому мне никогда не приходило в голову обратиться к Всевышнему с какой-либо просьбой. Единственная молитва, которая неосознанно вырывалась из души, это «Благодарю тебя, Господи!» А в 55 лет я напишу себе на день рождения такое стихотворение:

*Все меньше сил и смеха остается,
И все стремительней я отдаю долги.
Темнеет время за окном и ливнем льется.
Стена воды – и не видать ни зги.*

*Кто, на каких весах измерит малость
Страниц, заметок, мыслей, дней моих?
Всевышнему отвечу: «Я старалась»,
Беспомощно ладони опустив.*

2003 г.

2003 год... Пожалуй, и время предрасполагало к таким настроениям. Улетучивались последние оптимистичные иллюзии горбачевско-ельцинского времени, которое, однако, я до сих пор считаю самой замечательной и значимой эпохой, выпавшей мне на долю, – как и хрущевскую оттепель.

Еще один роман о сильной личности, противостоящей неблагоприятным обстоятельствам, был прочитан в отрочестве и долго оставался надежным спутником: «Мартин Иден» Д. Лондона. К слову, жаль, что архетипический сюжет противостояния, победного или трагического, но всегда мужественного и на пределе сил, практически ушел из современной литературы, лишив многих подростков образца для подражания. Мартин Иден был любимым героем моего троюродного брата Геннадия Шаткова, знаменитого в свое время боксера, кумира ленинградских мальчишек, олимпийского чемпиона, проигравшего в своей жизни один-единственный, последний бой – бой с Кассиусом Клеем, впоследствии легендарным Мухаммедом Али.

Художественным потрясением текст Джека Лондона не стал да и не мог стать, но благодарному восприятию это не помешало. Позже я в полной мере оценю его исповедь о своем алкоголизме – повесть «Джон Ячменное Зерно», которая в моем сознании неизменно коррелирует с незабвенным Веничкой Ерофеевым. Психологический анализ пьянства для русского человека был (и остался?) болезненно интересным; слишком много талантливых людей, погубивших себя водкой, оказалось и в моем окружении.

Вернусь, однако, к своей читательской биографии. На очередной день рождения (20 июня 1960 года) Сережа подарил мне книжку А. Я. Бруштейн «Дорога уходит в даль», и до сих пор со мной остается воздух душевного здоровья, которым дышат все ее страницы. Если вы хотите вырастить хорошего человека (а кто из родителей этого не хочет?), дайте ребенку прочитать трилогию Александры Яковлевны («Дорога уходит в даль», «В рассветный час», «Весна»). Очень мало в русской да и мировой литературе таких правдивых, искренних, обаятельных и живых книг о подростках – их дружбе, учебе, первых столкновениях с действительностью. С начальных строк возникает полное доверие к персонажам и их действиям, стремление перенести изображаемые события и характеры на себя, на свой ближний круг, а также чувство, что автор попросту очень хороший человек. И знает много больше, чем говорит. До сей поры помнится ее обращение со страниц своей книги к любимому отцу:

Папа мой, папа!.. Через пятьдесят лет после этого вечера, когда мы с тобой «кутили», тебя, 85-летнего старика, расстреляли фашисты, занявшие наш город. Ты не получил даже того трехаршинного домика, который тебе сулила Юзефа, и я не знаю, где тебя схоронили. Мне некуда прийти сказать тебе, что я живу честно, никого не обижаю, что я тружусь, и хорошие люди меня уважают... Я говорю тебе это – здесь.

Та же Тэла заразила меня интересом и любовью к Тургеневу. Она восхищалась Базаровым («Мне нравится даже его грубость!»), и с ее легкой руки я кинулась к «Отцам и детям», «Накануне», «Дворянскому гнезду». Нет, к Базарову меня привлек не бесшабашный нигилизм, не эпатаж, не страсть к разрушению. Привлекла его человеческая мощь, его способность к героическому и крупному действию, которые ярче всего обнаруживаются в ключевом эпизоде его смерти. Как написал эту сцену Тургенев! Спустя многие годы именно эту смерть-действие, смерть-поступок я выберу для анализа в своей хрестоматии «Читаем русскую прозу», и мой тогдашний соавтор Василий Шевцов скажет, прочитав мой комментарий: «Да, чувствуется ваше личное отношение...»

Может быть, это покажется неожиданным, но тургеневские девушки и женщины навсегда отвратили меня от многословия и уж тем более от сентиментальности в высказывании собственных чувств. Чего стоит объяснение Елены с Инсаровым в «Накануне»:

– Вы хотели заставить меня сказать, что я вас люблю, – прошептала она, – вот... я сказала.

Или последняя встреча Лизы Калитиной с Лаврецким:

– Нет, – промолвила она и отвела назад уже протянутую руку, – нет, Лаврецкий... не дам я вам моей руки. К чему? Отойдите, прошу вас. Вы знаете, я вас люблю... да, я люблю вас, – прибавила она с усилием, – но нет... нет.

Помню, как поразил меня уход Лизы в монастырь, как инстинктивно я всеми силами отталкивалась от ее решения, каким чуждым оно мне было. Я тогда приставала ко всем домашним с просьбой ответить на вопросы шутливой Марксовой «Исповеди», и дед, Иван Николаевич Павловский, бывший для меня неоспоримым и загадочным авторитетом, своей любимой героиней назвал Лизу Калитину, а любимым героем – князя Мышкина. Только тогда я смутно начала понимать, какие сила и цельность характера скрывались за Лизиним поступком.

Сереза, подсмеивающийся над моим «романтизмом», тем же летом 1960 года заставил меня прочитать «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок». Впервые я с головой окунулась в смеховую стихию юмора, почувствовала притягательное бесстрашие сатиры. Кстати, тайна смеха в искусстве так и остается для меня неразгаданной. Возможно, люди до сих пор хохочут над похождениями и репликами Бендера из-за его человечности, из-за того, что Остап, безусловно, самый привлекательный персонаж дилогии. Он смеется и даже издевается над людьми, не унижая и не уничтожая их – унижают и уничтожают его самого. Недаром И. Г. Эренбург в своих воспоминаниях мимоходом нарекает его «милым плутом». (Именно с этих пор поселяется во мне стойкое недоверие к предисловиям и послесловиям советских изданий: в предисловии к так полюбившимся мне романам Бендер безжалостно разоблачался.)

Почему-то никогда не хотелось смеяться над героями Зошенко, хотя неподражаемая речевая маска рассказчика в его произведениях и скрытая под ней трагедия обокраденных и изуродованных человеческих душ, безусловно, оказывали свое воздействие. Не хотелось смеяться и над ранним Чеховым. Ну что смешного в унижении несчастной домашней учительницы – англичанки, ни слова не понимающей по-русски, на глазах у которой беспардонно разоблачается «большой и толстый» помещик Грябов («Дочь Альбиона»)? Что смешного в злом мальчике из одноименного рассказа, изводящем своими шпильками влюбленную пару? А «Смерть чиновника»? «Толстый и тонкий»? Какой уж тут юмор...

Мастером смешного для меня позже стал и навсегда остался Михаил Булгаков. Еще позже – неповторимый Веничка Ерофеев и (правда, далеко не во всех своих произведениях) Владимир Войнович. Но о них в свое время и в своем месте.

А пока мы с братом упоенно цитируем любимых авторов и вводим бендеровские речения в свой лексикон: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели!» С возрастом придет некоторое охлаждение, станет жалко Лоханкина, а еще позже я начну с восторгом осознавать, что мало в Советском Союзе было издано таких антисоветских книг. Жуткий механический и бесчеловечный абсурд «социалистической действительности» в них показан совершенно откровенно, и Бендер так люб читателю вовсе не только из-за своей человеческой привлекательности. А потому, что он – против! Он – за нормальную жизнь...

И навсегда я попаду под печальное и насмешливое обаяние «Записных книжек» Ильфа. И буду повторять надоедливым посетителям моего крохотного кабинетика в университете:

– Как я люблю разговоры служащих. Спокойный, торжественный разговор курьерши, неторопливый обмен мыслями канцелярских сотрудников. «А на третье был компот из вишен»...

На тринадцатом году я открываю для себя Толстого. «Война и мир» в нашем доме была в огромном однотомнике большого формата, который трудно удерживался в руках, и я одолевала роман, сидя на скамеечке перед широченной родительской тахтой. Конечно, первое прочтение было поверхностным – ведь я честно, без пропусков, продиралась сквозь все непонятное и по тем моим годам малоинтересное. Но живая противоречивость характеров, правда диалогов, подлинность мельчайших душевных движений, неудержимая радость жизни надолго сделали этот роман одним из самых любимых. В десятом классе мне посчастливится не «пройти», а прожить «Войну и мир» вместе с Блюмой Яковлевной Княжицкой, нашей учительницей литературы. Кандидат филологических наук, ученица А. А. Белкина, она была незаурядным филологом и страстным, ироничным просветителем. Мы написали по «Войне и миру» 17 классных сочинений! В основном это были анализы отдельных эпизодов, и ее вопросы, ее саркастическое хмыканье заставляли глубже и глубже вгрызаться в толстовский текст. Загадка Наташи. Загадка Сони. Выбор между Пьером и князем Андреем (для меня сразу и навсегда – Андрей!). «Диалектика души» – в чем, как и где она проявляется? И всегда ли эта диалектика нравственна? Именно тогда начало складываться новое отношение к литературе: менее непосредственное, рефлексированное, аналитическое. Но страсть к художественному слову даже выросла.

Главное, что мне дал этот великий роман, – ощущение радости и принятия жизни. «Войну и мир» создавал гений, находящийся на вершине доступного ему человеческого счастья: Толстой воевал, путешествовал, завершил предварительный этап душевных поисков, рядом с ним молодая и горячо любимая жена, появились первые дети, радуется покою своего имения – и на фоне всего этого полный расцвет сил и таланта. «И увидел Бог, что это хорошо...» Недаром на последних страницах эпопеи подросток мечтает о будущем подвиге. Мало таких концовок в русской литературе.

Не могу не упомянуть о первом соприкосновении с толстовской философией. Ее мощь и обаяние помогли мне, пусть и неосознанно, сопротивляться официальному историческому материализму, которым нас неуклонно пичкали и в старших классах школы, и во время пятилетнего университетского марафона. «Слова “случай” и “гений” не обозначают ничего действительно существующего и потому не могут быть определены. Слова эти только обозначают известную степень понимания явлений...» Диалектика Толстого касалась не только человеческой души.

Несколько слов о моих учителях литературы. Как невероятно повезло мне с ними! Значимость этой фигуры в советской школе трудно переоценить. Уроки литературы интегрировали в себе все: живую историю страны, этику, философию, психологию, художественную культуру. Мои школьные годы (1955–1966) совпали с хрущевской оттепелью, и как старались наши учителя распахнуть перед своими питомцами двери в открывающееся пространство! С пятого класса литературу у нас вела Анна Акинфиевна Вишнякова. После гибели на Финской войне любимого мужа, М. И. Быкова (посмертно он был удостоен звания Героя Советского Союза) она всю себя – без преувеличения – отдавала своим ученикам. Помню, в шестом классе мы на уроке русского языка проходим однородные члены предложения, и она пишет на доске:

*Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.*

И задумчиво добавляет:

*Свеча горела на столе,
Свеча горела...*

А ведь шельмование Пастернака уже состоялось, имя его не было принято упоминать, тем более на школьных уроках.

Со всеми учителями-словесниками у меня складывались неформальные отношения, вплоть до частых визитов к ним домой. Именно тогда сформировалось убеждение, что разговоры о литературе – одно из самых увлекательных занятий в жизни.

В девятом классе к нам пришла Блюма Яковлевна. Дискуссиям на уроках просто не было конца, и, конечно, обсуждались произведения далеко не только из школьной программы. Помню свое отчаянное заявление (на весь класс!) по поводу одного из стихотворений Андрея Вознесенского: это не стихи, а издевательство над поэзией! И после уроков Блюма Яковлевна просит меня проводить ее до дому (жили мы на одной улице) и терпеливо объясняет мне, почему, собственно, «сирень похожа на Париж». А проходя мимо табачного киоска, обрадованно бросает: «Наташка, “Беломор” есть! Давай купим!» Даже мое курение – от нее...

Она не ленилась писать каждому из нас краткие, но весьма точные и выразительные отзывы после бесконечных сочинений. Очень жаль, что две толстые тетради моих школьных работ пропали после бесчисленных списываний, но одна ее рецензия на сочинение по Чехову, за которое я получила единственную в своей жизни четверку, запомнилась наизусть: «Наташа, ты очень хорошо чувствуешь литературу и владеешь языком. Но в данном случае хотелось бы более конкретного литературоведческого анализа».

Сказалась, видимо, моя давняя нелюбовь к Чехову, проза которого мне, к сожалению, чужда до сих пор. Отталкивает его отстраненное высокомерие в изображении людей, отсутствие страсти и эмпатии по отношению к ним. А вот чеховскими пьесами я восхищалась и восхищаюсь, считая их непревзойденным образцом абсурдистского сюрреализма:

– А, должно быть, в этой самой Африке теперь жарница – страшное дело!

Эти слова, глядя на никому не нужную географическую карту, произносит человек, только что потерявший все лучшее в своей жизни – и осознавший это...

Именно Блюма Яковлевна повлияет на мое решение выбрать для дальнейшего обучения не филологию, а прикладную лингвистику (кстати, соответствующие отделения существовали только в пяти университетах СССР – в Москве, Ленинграде, Киеве, Новосибирске и Горьком). Я уже всю писала стихи, но трезвое отношение к своему «творчеству» окончательно сложилось после ее реплики: «В поэзии стоит быть или Анной Ахматовой, или Мариной Цветаевой. На меньшее ведь ты не согласишься?»

Умение адекватно оценить себя и свои возможности и при этом не занижать требования к собственному будущему – как это важно в юности...

Часть уроков Блюма Яковлевна отдавала своему ученику – студенту, а позднее выпускнику Горьковского педагогического института Анатолию Мироновичу Альтшуллеру (впоследствии печатавшемуся под псевдонимом Смелянский и ставшему легендарным завлитом МХАТа). Стихи он читал так, что в него был влюблен поголовно весь класс. Помню, как он принес только что вышедший тоненький «Узел» О. Берггольц, и весь урок звучали ее кровоточащие строки. Репрессированные деды и другие родственники были у половины класса.

Да здравствует свобода образовательного процесса! Личность учителя – это главное, что мы выносим из школьных стен. А проявиться и полностью реализоваться она может только в гибких и широких содержательных рамках. Ведь в памяти ребенка, подростка, юноши остаются не только и не столько факты и навыки, сколько эмоциональное и равнодушное отношение к миру и к тебе самому в этом мире, страстное восхищение красотой слова, природы, человеческого деяния.

Очень жаль, что в те годы в школьной программе отсутствовал Достоевский. Конечно, мимо меня он не прошел, и первым толчком стал уже упоминавшийся ответ деда на вопрос о его любимом литературном герое: князь Мышкин. В 13–14 лет «Идиота» постигнуть невозможно, поэтому отчетливо помню восхищение блестящей первой частью, сценой с горящими деньгами в гостиной Настасьи Филипповны – и горестное недоумение перед дальнейшим повествованием о происшествиях на павловских дачах. Я и сейчас далека от безоговорочного включения князя Мышкина в пантеон своих любимых героев, но роману – роману полностью отдаю должное. К Достоевскому пришлось подбираться постепенно: от «Неточки Незвановой», «Униженных и оскорбленных» к «Преступлению и наказанию» и «Братьям Карамазовым». Этот последний я прочла уже студенткой, и вот он-то пронял, что называется, до печенок. Когда по моему настоянию «Карамазовых» прочитал младший брат Коля (с которым я была очень дружна), мы проговорили с ним до трех часов утра. «Принимаю Бога прямо и просто, но я мира этого божьего не принимаю и не могу согласиться принять». (Знаю, что цитата неточная, но просто мне так запомнилось и понравилось.) Иван остался одним из любимейших моих героев. А вот Алеша... Его обаяние до сих пор не то что недоступно, а чуждо. Какая-то фальшь проглядывает во всех героях этого плана у Достоевского. Возможно, они могут достучаться до сердец только истинно верующих людей? Не знаю.

Для растущего человека очень важно бесстрашное умение Федора Михайловича докапываться до самых темных глубин нашего сознания. В юности часто пугаешься неожиданных желаний, грешных соблазнов, неодолимых внезапных порывов сделать или подумать что-то заведомо запретное и осуждаемое обществом. Достоевский вытаскивает эти вещи наружу и объективирует их. Нет лучшего пособия для собственного психоанализа и аутопсихотерапии.

В зрелом же возрасте наступил этап постижения «Бесов», и не для меня одной – со второй половины 1980-х многие начали задумываться о глубинной сути большевистского переворота и его связи с некоторыми нашими национальными традициями. К тому же Достоевский угадал нечто очень важное, неостановимое и страшное в развитии человеческого рода в целом: хочешь разобраться в корнях массового терроризма, повседневной жестокости, возрождающихся тут и там тоталитарных режимов – перечитывай «Бесов».

Помнится, Ю. Карякин, оказавшись в растерзанной Кампучии вскоре после свержения Пол Пота, показал страницы «Бесов» со знаменитыми планами-пророчествами Шигалева одной из чудом выживших кампучийских интеллигенток, и она потрясенно шептала: значит, вы знали об этом уже тогда?.. Мой отец, будучи экспертом ЮНЕСКО по качеству народного образования в бывших французских колониях, побывал в Камбодже (так в то время именовалась Кампучия) в 1965 году и просто влюбился в эту страну, с ее Ангкор-Ватом – древнейшим величественным храмовым комплексом, с ее незлобивым и улыбчивым населением. Не удивительны те ужас и изумление, с которыми он воспринимал последующую трагедию страны и народа; равнодушное внимание к кампучийской действительности долго сохранялось в нашем доме. Кампучия стала еще одним доказательством правоты вещей прозрений Достоевского.

А мама была влюблена в Ставрогина... Пресловутая глава «У Тихона» стала доступной в СССР только в 1972-м. Мне притащил опубликованный текст потрясенный приятель, и его расширенные от волнения глаза помню до сих пор. Нет спора, глава гениальная, без нее архитектура «Бесов» теряет в стройности и соразмерности, но для меня после знакомства с этим текстом личность Достоевского не то что потускнела, а отдалилась, породила некоторый страх перед собой. Вот что, оказывается, доступно ему для изображения. Хотя на фоне сегодняшнего разливанного моря всевозможных извращений Ставрогин смотрится прямо-таки безобидным агнцем.

Вспоминая свое постижение двух наших гениев – Достоевского и Толстого, я не нахожу той пропасти между ними, о которой так убедительно поведал В. В. Вересаев в своей «Живой жизни». Да, разные. Невероятно разные. Но оба равно необходимы. Если Толстой в конечном итоге славит жизнь и учит бояться только равнодушия и спокойствия (которое, по его словам, душевная подлость), то Достоевский зовет к вызову, бунту, одновременно предостерегая от неизбежных опасностей на этом пути. Кстати, мои многочисленные ученики (в годы активного репетиторства) тоже очень редко отвергали одного ради другого.

В конце 1962 года, как известно, грянул Солженицын. Номер «Нового мира» с «Иваном Денисовичем», конечно, был раздобыт, зачитан до дыр всей семьей и занял почетное место в библиотеке. Безоговорочное, восторженное принятие повести в нашем доме столкнулось со множеством осторожных замечаний в других семьях. «Да, талантливо, интересно, но... Где сопротивление? Где осуждение Сталина? Где настоящие коммунисты?» И т. д., и т. п. Отторжение и непонимание главного героя встречались достаточно часто. Только в зрелом возрасте у меня сложится твердое убеждение, что это лучшая художественная проза Солженицына, на уровне гениальности (хотя сам он, видимо, так не считал). Врезалось в память, как в первые дни после внезапной и безвременной маминой смерти мой младший брат не отрываясь перечитывал «Один день...». Каждый в нашей осиротевшей семье изо всех сил старался справиться с горем, и Коле, видимо, ощутимо помогала неиссякаемая, хотя и труднообъяснимая жизнестойкость, волнами исходящая от солженицынского текста.

А первой печатной искоркой так необходимой обществу правды в нашей семье стала далеко не всеми замеченная документальная книжка С. С. Смирнова «Герои Брестской крепости», в которой глухо, но достаточно отчетливо говорилось о том, что большинство этих героев после окончания войны были репрессированы. Именно тогда мой дед Иван Николаевич Павловский написал автору письмо, начинавшееся словами: «Дорогой Сергей Сергеевич! Я один из тех, “кто вынес все: тоску неволи, кошмар мучительных ночей...”» Дед задавал главный вопрос: не пришло ли время во весь голос сказать о жертвах сталинизма? назвать хотя бы некоторых бесчеловечных палачей? (Он упоминал фамилию Кашкетина, одного из самых извержеских начальников в Ухтпечорлаге.) И Смирнов ответил: к сожалению, время это еще не пришло...

Да пришло ли это время и много позже? Где Нюрнбергский процесс над нашими преступниками? Мне не дает покоя мысль, что без официального, на государственном уровне, правового, юридического осуждения Сталина и его подручных за преступления против человечества, за массовое истребление собственного народа будущее России остается, скажем аккурратно, непрозрачным. А деда до конца мучили размышления о будущем его внуков. Получив наши с Сережей младенческие фотографии, он прислал из лагеря такое стихотворение:

К портрету внучат

*В изгнаныи далеко
Я жил одиноко
И крест свой тяжельый безропотно нес.
Окончились муки
Невольной разлуки.
На вас я взглянул и в душе произнес:*

*«Мои голубята,
Родные внучата!»*

*За вас в моем сердце молитва одна:
Серезжа, Наташа,
Минуй вас та чаша,
Которую дедушка выпил до дна».*

Повесть Александра Исаевича настолько поразила деда, что он вспомнил и записал для нас «молитву» конвоя, которой сопровождался вывод заключенных на работу и из которой в тексте Солженицына было убрано несколько страшных фрагментов. Но беспощадная точность изображения лагерного быта была оценена в полной мере. А вот философская подкладка повести (чего стоит хотя бы диалог Ивана Денисовича с баптистом Алешкой, сразу вызывающий в памяти одноименных героев Достоевского) тогда не то что не доходила, а как-то мало интересовала. Главным было восстановление великого русского реализма.

С юности я собираю все доступные печатные источники о сталинском терроре – в память о своих дедах. Если папин отец, Василий Никифорович Русов, дожил до 88 лет и оставил интереснейшие воспоминания, то Иван Николаевич Павловский был до смерти забит пьяным хулиганьем в 1963 году, в 73 года, по дороге домой из сада – неподалеку от городской тюрьмы. Больно вспоминать об этом до сих пор. Он успел отпраздновать свое 70-летие, которое я хорошо помню. Поднявшись во главе праздничного многолюдного стола, высокий, красивый, дед сказал: «В самые тяжелые минуты своей жизни я помнил слова Пушкина: “Товарищ, верь! Взойдет она, звезда пленительного счастья!”»

Навсегда врезался в память один из его рассказов – о том, как в лагерном медпункте, где он был фельдшером, ему всего на одну ночь достался томик И. Гончарова с «Обломовым». В палатах и комнатке персонала свет зажигать не полагалось, и дед до утра простоял на табуретке под тусклой коридорной лампочкой – спешил дочитать, вспомнить, досмаковать лакомые страницы...

Подростковое чтение извилисто и прихотливо. Расскажу об одном вкусовом «зигзаге», который так и не забылся. К хорошей поэзии меня приучили с детства, к тому же, как я уже упоминала, мама замечательно читала. В общем, стихи самых разных (но, как правило, хороших) поэтов были моими постоянными спутниками. И вот в шестом классе мне попалось стихотворение Виктора Гусева «Слава» – и до страсти понравилось. Много раз я декламировала его одноклассникам, кстати, с неизменным успехом. В тексте изложена обыкновеннейшая история о поиске таланта: у девушки обнаруживается талант певицы, у юноши – нет, но он успокаивает себя будущим «знаменитого токаря». Стихи звонкие, небесталанные, логика и обаяние типично советского жизненного успеха преподнесены читателю безупречно. И все же банальность, даже пошлость стихотворения очевидна. А вот помнятся строчки до сих пор:

*...Нет, я не хвастаю, Маша.
Но помечтать я вправе.
Я знаю свою силу,
Я знаю свою страну.
Так спой на прощанье песню
О доблести и о славе,
И я, невзирая на голос,
Все-таки подтяну!*

Сколько мы с друзьями спорили: можно ли мечтать о славе? нужно ли? Может быть, сказалась юношеская боязнь исчезнуть? уйти без следа? В разгар этих дискуссий мама прочи-

тала мне «Желание славы» Пушкина, и в который раз уже показалась поразительно близкой и неодолимо обаятельной его человеческая суть. Напомню, что стихотворение написано им в 25 лет – по-нынешнему, юношей:

*...Желаю славы я, чтоб именем моим
Твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною
Окружена была, чтоб громкою молвою
Все, все вокруг тебя звучало обо мне...*

Много позже, упиваясь своим открытием Бродского, я поймаю переключку с Пушкиным его, 27-летнего:

*...Так тень моя, взапуски с небом,
повсюду начнет возвещать обо мне
тебе, как заправский мессия,
и корчиться будет на каждой стене
в том доме, чья крыша – Россия.*

(«Отказом от скорбного перечня – жест...»)

Слава как средство напомнить о себе женщине, другу, близкому... Именно это отношение к славе оказалось созвучным моей душевной структуре. Увы, все последующее показало, что ген честолюбия в этой самой структуре отсутствует или, во всяком случае, очень слабо развит.

А через год наступил Блок. Иначе и не скажешь: наступил, как наступает лето, зима, весна. Эта стихия, эта музыка, эта тайна заморозили и остались навсегда. Понимание, постижение, вчитывание... Можно сказать, что мой Блок рос вместе со мной. Как Пушкин. Порой перечитывание Блока приводило меня к нестандартным выводам. Задолго до того, как я познакомилась с соответствующей работой М. Волошина, мне стало казаться, что Христос в «Двенадцати» оказывается впереди красногвардейского патруля просто потому, что двенадцать «с кровавым флагом» гонятся за ним, а он без труда скрывается от них в «снежной россыпи жемчужной». Такое объяснение устраивало меня гораздо больше общепринятых толкований.

С юности поразило меня в облике Блока – поэта и человека – то, что я про себя называла «поэтической обреченностью»: постоянное, то вольное, то невольное, стремление обнаружить в собственном существовании все достойное поэтического воплощения и добиться этого воплощения – любой ценой:

*...И, взглядываясь в свой ночной кошмар,
Строй находить в нестройном вихре чувства,
Чтобы по бледным заревам искусства
Узнали жизни гибельной пожар!*

(«Как тяжело ходить среди людей...». 1910)

В который раз убеждаюсь, кстати, как важна для подростка музыкальность стиха, его лакомая произносимость. «О доблестях, о подвигах, о славе...» хочется повторять и повторять, проговаривать и проговаривать – вслух, про себя, товарищам. Пожалуй, именно тогда просыпается моя склонность, даже страсть к просветительству – отдать, поделиться, заставить другого ощутить открывшуюся тебе тайну и красоту. Много позже я напишу несколько книг с

культурологическим комментарием художественных текстов, они будут иметь успех. А началось все тогда, в 14 лет.

*Мне четырнадцать лет.
Вхутемас
Еще – школа ваянья...*

*Раздается звонок.
Голоса приближаются: —
Скрябин.
О, куда мне бежать
От шагов моего божества!*

(Б. Пастернак. «Девятьсот пятый год». 1925–1926)

Вспоминая советскую литературу моих 13–15 лет (1961–1963), я нахожу, что лучшие ее произведения на редкость соответствовали жадному желанию постичь и принять окружающее, обнаружить и занять свое место в жизни – желанию, которое так свойственно подростку. До сих пор благодарно помнятся два «производственных» романа: «Иначе жить не стоит» В. Кетлинской и «Битва в пути» Г. Николаевой. Притягательность жизни по призванию, о которой так убедительно свидетельствует Кетлинская, действовала не только на меня, прочитав эту «очень замечательную» книжку мне советует в письмах из Ленинграда троюродная сестра Таня, с которой мы очень дружили, несмотря на четырехлетнюю разницу в возрасте. И роман-то о шахтерах, газовиках, но как аппетитно передана радость молодого открытия, страсть борьбы за его реализацию, вера в жизненную необходимость твоего труда... Позже я прочитаю яркие лаконичные наброски незавершенных сюжетов в книге Веры Казимировны «Вечерние окна», ее мемуары и снова порадуюсь таланту эмпатии, с которым она доносит себя и свой мир до читателя.

«Битву в пути» у нас прочитала вся семья. Не удивительно: судьба Тины и ее расстрелянного при Берии отца перекликалась с опытом моих родителей. Но дело было не только в «правде жизни». Обаяние этого романа – в лиричности интонации, в живом пульсе трагедии и ее преодоления, в торжестве неудавшейся любви. Как почти всегда после понравившейся и поразившей книжки, я выискивала и проглатывала другую прозу Галины Николаевой, ее стихи, позже – ее предсмертные записки «Мой сад» (она безвременно скончалась от болезни сердца) и архивные публикации, воспоминания о ней. Мама даже побывала на ее выступлении в нашем городе (приезжала она вместе с мужем, М. Сагаловичем). Безусловно, как человек она была крупнее своих произведений. Она из тех, у кого художественность слова в значительной степени обуславливается напором незаурядного жизненного материала, незаурядностью эмоционального строя души. «Битва в пути» обнаружила это в полной мере. В сущности, прекрасный роман. Даже парторг Чубасов вызывает симпатию, не говоря уже о главном герое Бахиреве. Особенно если по контрасту вспомнить появившегося в те же годы «Секретаря обкома» В. Кочетова, роман, который я тоже прочитала – и захлопнула книжку, ощутив отчетливый привкус картонности и патоки.

Одна из важнейших задач отроческого чтения – воспитание чувств, осознанное и неосознанное всматривание в чужие и собственные эмоции и переживания. До сей поры помнится потрясение, испытанное мной после захлеб прочитанного романа С. Цвейга «Нетерпение сердца», романа о трагических последствиях спонтанного и необдуманного сострадания к физической ущербности девочки-калеки. Многие наблюдения Цвейга живо и болезненно сов-

падали с моим собственным печальным опытом, и в свой тогдашний дневник я записывала круглым полудетским почерком:

...Есть два рода сострадания. Одно – малодушное и сентиментальное, оно, в сущности, не что иное, как нетерпение сердца, спешащего поскорее избавиться от тягостного ощущения при виде чужого несчастья: это не сострадание, а лишь инстинктивное желание ограждать свой покой от страданий ближнего. Но есть и другое сострадание – истинное, которое требует действий, а не сантиментов, оно знает, чего хочет, и полно решимости, страдая и сострадая, сделать все, что в человеческих силах и даже свыше их...

(Перевод Н. Бунина)

У мамы с ее студенческих, совпавших с военными, лет сохранилась потрепанная продолговатая книжечка, в которую она вписывала запомнившиеся стихотворения. Именно там я нашла почти весь симоновский цикл «С тобой и без тебя». Он сразу и навсегда стал одним из моих любимых, и до сих пор почти весь его помню наизусть. Сколько раз я читала эти стихи в самых разных – по возрасту, интеллекту, социальному положению – компаниях! В турпоходах, в домах отдыха, на дружеских вечеринках, в студенческой аудитории... Отклик был неизменно искренним, теплым, часто восторженным:

*...Но если опоздать случится мне,
И ты, меня коря за опозданье,
Услышишь вдруг, как кто-то в тишине
Шепнет, что бесполезно ожиданье, —
Не отменяй с друзьями торжество.
Что из того, что я тебе всех ближе,
Что из того, что я любил, что из того,
Что глаз твоих я больше не увижу?..*

(«Хозяйка дома». 1942)

Безусловно, этот цикл – лучшее, что есть у Симонова, то, что останется навсегда. Настоящее, большое чувство, данное в своем беспощадно правдивом развитии, да еще в экстремальной ситуации войны, – немногим поэтам выпадает такая удача, и немногие смогли так полно ее реализовать. Позже я прочитаю все, что удастся раздобыть об истории этой любви и ее героине, догадаюсь, что Валентина Серова была, пожалуй, крупнее и интереснее Симонова и по талантности натуры, и по человеческим качествам, но обаяние Константина Михайловича как мужчины и воина, обаяние его мужественной и бесконечно честной поздней самооценки не померкнет.

Многие указывают на некоторую ограниченность его поздней исповедальной прозы о Сталине «Глазами человека моего поколения». Возможно. Но до такой искренней и бездонной честности доходили единицы, и уж тем более не доходил никто из лауреатов Сталинских премий (а у Симонова их было целых шесть!). И позже я от души соглашусь с его сыном, Алексеем Симоновым, который в своих автобиографических записках отметил:

...Недавно... одна прекрасная женщина брала у меня интервью и, в частности, спросила: «Как, по-вашему, что бы думал, как относился бы к тому, что происходит вокруг, ваш отец, если б он был жив?»

И я ей ответил, и отдаю себе отчет в том, что только искренность оправдывает бессмысленность моего ответа: «Вы знаете, мне все время кажется, что, если бы отец был жив, мерзости вокруг было бы меньше».

*Делайте со мной что хотите, но я искренне в это верю*².

Всматриваясь в отдельные картинки своего отрочества, еще раз нахожу в них подтверждение, что Советская Россия была «суперлитературоцентричной» страной. Разговорами о книжках сопровождалась почти все шатания с одноклассниками по городу, еще детские вечеринки и дни рождения, долгие возвращения из школы с взаимными провожаниями друг друга. В нашем кругу не было принято прогонять детей с домашних праздников и застолий, за которыми тоже обсуждались книжные новинки, включался магнитофон с Галичем и Окуджавой (Высоцкий появится позже), читались стихи. Помню, как я «суфлировала» Александру Познанскому (одному из популярнейших нижегородских чтецов), который вдохновенно декламировал в нашей гостиной есенинское «Письмо к женщине»:

*Вы помните,
Вы все, конечно, помните,
Как я стоял,
Приблизившись к стене,
Взволнованно ходили вы по комнате
И что-то резкое
В лицо бросали мне...*

И, соревнуясь с ним, мама своим низким грудным голосом произносит:

*Снова выплыли годы из мрака
И шумят, как ромашковый луг...*

(«Суккин сын». 1924)

Жаль, что это ушло. Живое слово – не скайп, не экран смартфона.

Много позже я прочитаю в прославленном эссе «Меньше единицы» характеристику, которую Иосиф Бродский дал своему поколению, и от души порадуюсь, что мои сверстники обрели и сохранили в себе что-то похожее:

...Мы были ненасытными читателями и впадали в зависимость от прочитанного... Диккенс был реальней Сталина и Берии. Романы больше всего влияли на наше поведение и разговоры, а разговоры наши на девять десятых были разговорами о романах...

По своей этике это поколение оказалось одним из самых книжных в истории России – и слава Богу. Приятельство могло кончиться из-за того, что кто-то предпочел Хемингуэя Фолкнеру; для нас Центральным Комитетом была иерархия в литературном пантеоне. Начиналось это как накопление знаний, но превратилось в самое важное занятие, ради которого можно пожертвовать всем.

² Симонов А. К. Частная коллекция. Нижний Новгород, 1999. С. 57.

Юность и хрущевская оттепель (1964–1966)

Вопреки устоявшемуся мнению юность кажется мне одним из самых несчастных периодов человеческой жизни. Никогда больше не испытываешь такого бешенства желаний и не имеешь такого малого пространства возможностей для их осуществления. Очень нелегко также ощутить и осознать себя не просто личностью, а женщиной (или мужчиной, что еще труднее). Уж не говорю о первой любви, которая практически всегда не складывается, кончается печально (если не трагически) и долго отдается в душе щемящей нотой. (Моя судьба в данном случае не составила исключения.)

Так вот, сочтя себя в 16 лет достаточно взрослой, совершенно по-новому ощутив любовные коллизии в «Войне и мире», я залпом прочитала «Тихий Дон». Темная тяжелая стихия неведомого дотоле бытия меня чуть не потопила. Отталкивание от жестокости и насилия было таким острым, что томики физически вываливались из рук. И все-таки я благодарна этому безусловно слишком раннему читательскому опыту. Померкла героиня Гражданской войны, неустанно воспеваемая в советской культуре (роль играли не столько книги, сколько фильмы, живопись, песни – ведь даже любимейший Окуджава пел о «той единственной гражданской»). Начала открываться подлинная трагедия народа, жестоко и насильственно переменившего свою судьбу.

Конечно, я жадно впивалась во все «любовные» страницы. Сейчас даже как-то неловко об этом вспоминать, но из песни слова не выкинешь: в 16 лет мне гораздо более по душе и по характеру пришлось история отношений Анны и Бунчука. Однако мощь текста была такова, что перечитывала я «Тихий Дон» неоднократно, и счастье понимания и сопереживания главным персонажам росло от чтения к чтению. Сейчас мне ясно, что поднять любовь полуграмотных казаков до уровня шекспировских героев, поднять, ни разу не унизив ее фальшивым облагораживанием, мог только подлинный гений. А неистребимая поэзия Дома, Семьи, Труда?

Проблема авторства «Тихого Дона», широко обсуждаемая на рубеже тысячелетий и ранее, в свое время живо меня волновала, заставляя прочитывать все доступное по этой тематике. Ныне, пожалуй, сомнений практически не осталось. И дело не в убедительных всесторонних исследованиях И. Медведевой-Томашевской, А. Солженицына, Зеева Бар-Селлы и множества других. Попросту личность Шолохова в тех ее аспектах, которые мне доступны, не соответствует личности автора гениального романа по масштабу и нравственной структуре. Еще в юности резали слух его безапелляционные и страшные по своей сущности заявления о деле Синявского и Даниэля. Главное не в том, что он замолчал, то есть перестал писать, не в том, что время от времени лечился от алкоголизма, – бывает! Но публичную подлость, высказанную безапелляционным тоном ни в чем не сомневающегося «классика», прощать нельзя. Впрочем, ответ на эту загадку сейчас уже не кажется таким важным: не волнует же нас, в каком из городов родился Гомер. Главное, что в русской литературе наличествует и живет этот жгучий текст. Даже «Поднятая целина», которую мы проходили в школе и которая много слабее и мельче «Тихого Дона», несет на себе отметку когтей неведомого, но мощного мастера. В частности, пронзительно изображен безумный соблазн раскулачивания, когда нищему и забитому дают много и бесплатно:

...Жененка Демки Ушакова обмерла над сундуком, насилу отпихнули. Надела сборчатую шерстяную юбку..., сунула ноги в новые чирюхи, покрылась цветастой шалькой, и только тогда кинулось всем в глаза, ...что Демкина жененка вовсе не дурна лицом и собою бабочка

статна. А как же ей, сердяге, было не обмереть над колхозным добром, когда она за всю свою горчайшую жизнь доброго куска ни разу не съела, новой кофточки на плечах не износила?..

Часто спорили мы о трагической концовке, о том, зачем автор беспощадно убивает своих лучших и любимых героев. В одном из сочинений я напишу: возможно, здесь предсказана тень надвигающегося 1937 года, и писатель призывает беречь настоящих людей, ведь их так мало осталось.

Свое выпускное школьное сочинение, кстати, я писала по Шолохову – «Народ и партия в романе “Поднятая целина”» (стандартные формулировки советского времени). Похваляюсь: оно так понравилось проверяющим, что один из учителей позвонил моей маме поделиться своими впечатлениями (мать отнюдь не обременяла школу посещениями). Жаль, конечно, что все сочинения пропали, но Бог с ними. Запомнилось только, что я писала о необходимости «непреходящей ответственности перед теми, кого называют “народ”». Почему хочется об этом упомянуть? Дело в том, что разрыв между интеллигенцией и «простыми людьми» начал мной осознаться, и осознаваться горестно, очень рано. Невозможность поделиться с большинством окружающих заветными мыслями, пренебрежение к «высоким» (хотя почему в кавычках?) интеллектуальным запросам со стороны множества сверстников – все это мучило меня в юности, заставляло искать меру допустимого компромисса в личных отношениях, тем более что нашей семье в высшей степени был присущ, как я сейчас формулирую, стихийный демократизм: родители с неподдельной естественностью совершенно одинаково относились к людям разного интеллекта и разного социального положения. Доходило до того, что в отдельные периоды своей молодости я с тоской думала: хорошо бы поглупеть...

Сейчас, на склоне лет, мне кажется, что проблема разрыва между образованным классом и так называемыми «простыми людьми», долго мучившая совестливых русских интеллигентов, в значительной степени создана и выпестована русской литературой, с ее знаменитым состраданием к «униженным и оскорбленным». Постсоветская Россия сделала, кажется, все, чтобы почувствовала себя униженной и оскорбленной именно интеллигенция (Советская Россия тоже постаралась, но по-другому и по отношению к другим, несоветским интеллигентам). Господи, да почему же мы не народ? Нет, я ощущаю себя не просто самым настоящим народом, но и далеко не худшей его частью.

Предчувствие и робкое предугадывание собственной женской судьбы совпали у меня с прочтением «Очарованной души» Ромена Роллана. Как нравился мне этот роман, с каким упоением я обнаруживала черточки своего сходства с главной героиней! Особенно привлекало великолепное презрение Аннеты Ривьер к «тому, что скажут», к материальным благам, простое, радостное и благодарное принятие судьбы «матери-одиночки» (которую я во многом повторяю) и неустанный душевный труд. Спустя некоторое время в «Дневнике Нины Костериной» (о нем ниже) я прочитаю о таком же потрясении его автора от знакомства с судьбой и образом Аннеты.

Да, хороший роман. Конечно, блестящее французское многословие утомляет, его выдержит и оценит только достаточно опытный и воспитанный читатель. Роллан (как и Гюго, которого я тоже очень любила и еще подростком много читала) доступен далеко не каждому. Наконец, с чисто художественной стороны намного изобретательнее и мудрее его «Кола Брюньон», и в зрелые годы я часто буду вспоминать диалог из главы «Ласочка»:

- Среди всех женщин на свете, – сказал я, – я узнал бы тебя с закрытыми глазами.
- С закрытыми – да, а с открытыми? Взгляни на эти ввалившиеся щеки, на этот беззубый рот, на этот длинный нос...
- У меня глаза хорошие, Ласочка.

(Перевод М. Лозинского)

Кстати, «Очарованная душа» повлияла на многих моих подруг, а любимая двоюродная сестра Вера много позже назовет этот роман среди книг, определивших ее судьбу и характер (я иногда просила друзей и знакомых перечислить «главные книги жизни», и до чего интересными оказывались некоторые листочки).

Круг моего юношеского чтения расширялся стремительно и в разные стороны; чтобы охарактеризовать его полностью, потребовалось бы слишком много времени и страниц. Пожалуй, даже хорошо, что сейчас, в момент рождения этих записок, рядом со мной нет моей любимой, много лет собираемой библиотеки, так как путешествие по ее полкам отвлекло бы меня от главной задачи – вспомнить и отрефлексировать узловые точки прочитанного, присутствие которых в душе ощущается по сей день. В 1960-е годы публикуются великолепные переводы крупных зарубежных авторов, среди которых сразу и навсегда покорила меня Генрих Белль. Я собирала первые, еще в хлипких бумажных обложках, издания всех его романов и повестей – «Дом без хозяина», «Глазами клоуна», «Бильярд в половине десятого»... Впервые мне открывается принципиально иной, другой национальный художественный мир, другое, но неодолимо притягательное мировосприятие, я начинаю понимать поэзию прозаических символов. Чего стоило одно «причастие буйвола» из «Бильярда» (внутреннее принятие фашизма и насилия)! Хрупкость добра – вот, пожалуй, главный нравственный урок, полученный мной от Белля. В 1970-е годы его произведения исчезают с книжных прилавков. В 1973 году я вырежу из «Нового мира» и переплету «Групповой портрет с дамой» и долго буду горестно недоумевать, почему писателя такой мощи и обаяния практически не печатают в Союзе. Еще позже я узнаю о спокойном, но непоколебимом неприятии Беллем советского заскорузлого тоталитаризма, о его помощи Солженицыну и нашим диссидентским кругам, и это добавит притягательности его облику.

Как многие сверстники, в отрочестве я не могла не увлечься Ремарком. Его книги были практически недоставаемыми; помню, с каким ликованием я притащила домой затрепанный томик с «Тремя товарищами», сбереженный для меня знакомой продавщицей букинистического отдела. Очарование этого романа живо и сейчас, напоминая, какой бедной становится жизнь, лишённая дружбы и любви. Эту банальную истину способен засвидетельствовать далеко не каждый писатель. Позже многие ремарковские произведения забудутся и поблекнут, утомит однообразие туберкулезных страданий и смертей. Но останется свет одинокого мужества и благодарности за пусть исчезнувшее, но подлинное чувство, запечатленное на страницах «Триумфальной арки», «Черного обелиска», «Теней в раю».

Еще в школьные годы одним из моих любимцев стал Л. Фейхтвангер. Перечитала я тогда почти все его романы, но особенно впечатлили (и много раз перечитывались) «Семья Опперман» и «Испанская баллада». Пытаюсь понять, почему именно они. В «Семье Опперман» мучительно задевала слепота общества к надвигающейся и разразившейся катастрофе немецкого фашизма, и к диалогу Густава Оппермана с молодым адвокатом, открывшим ему глаза на происходящее в Германии, я возвращалась неоднократно. Задним числом думается, что здесь сказалось предчувствие собственных последовавших много позже прозрений относительно бытия советского общества в годы сталинизма и в годы застоя. Дело ведь не только в недостатке информации, но и в собственной охранительной глухоте, которую люди неосознанно лелеют и поддерживают. Ей поддался и сам Лион Фейхтвангер в своей книге «Москва, 1937 год». Как мог этот «стреляный воробей» не ощутить фальшь московских процессов тех лет? А «Испанская баллада» покоряла изображением любви как иррационального бесконечно

счастливого чувства, сметающего все предостережения своего и чужого разума. На мой взгляд, это один из лучших любовных романов в мировой литературе.

К сожалению, самой мне до последних дней не удалось избавиться от рациональности в любовных делах. Видимо, русскому человеку, особенно русской женщине, слишком многое мешает безоглядно отдаться чувству, и дело вовсе не в опасении, что скажут и что подумают, а в постоянном осознании и предчувствии возможного будущего, главное в котором – судьба детей. Трагедия Анны Карениной мне видится не столько в иссякновении чувства, в том, что «винт свинтился», сколько в разрушенных судьбах Сережи и маленькой Ани, даже имя которой с трудом вспоминает читатель. Все-таки главное назначение женщины – дать и выпестовать жизнь.

И еще одно произведение о любви стало неотъемлемой принадлежностью моего юношеского сознания: поэтичный и грустный роман Т. Драйзера «Дженни Герхардт». Его образная ткань гораздо ближе к русской прозе XIX века, чем новаторские тексты Хемингуэя и Фолкнера (о которых еще пойдет речь), тем не менее это американская проза, с ее сдержанной и глубокой недоговоренностью реплик. До сих пор волнует диалог Дженни и умирающего Лестера, первый их диалог после расставания и долгой разлуки:

– Не знаю, что будет дальше, – говорил Лестер. – ...Мне уже давно хотелось тебя повидать. Решил – в этот приезд непременно наведуся. Ты ведь знаешь, мы теперь живем в Нью-Йорке. А ты немножко пополнела, Дженни.

– Старею, Лестер, – улыбнулась она.

– Это неважно, – возразил он, не отводя от нее глаз. – Дело не в возрасте. Все стареют. Дело в том, как кто смотрит на жизнь.

Он замолчал и поднял глаза к потолку. Легкая боль напомнила ему о перенесенных мучениях. Еще несколько таких приступов, как сегодня утром, – и он не выдержит.

– Я не мог умереть, не повидавшись с тобой, – заговорил он опять, когда боль отпустила. – Я давно хотел тебе сказать, Дженни, – напрасно мы расстались. Теперь я вижу, что это было не нужно. Мне это не дало счастья. Ты прости меня. Мне самому было бы легче, если бы я не сделал этого.

– Ну что ты, Лестер, – возразила она, и в этот миг вся их совместная жизнь пронеслась в ее памяти. Вот оно – свидетельство их подлинного союза, их подлинной душевной близости! – Не мучай себя. Все хорошо и так. Ты был очень добр ко мне. Не мог же ты из-за меня потерять все свое состояние. И мне так гораздо спокойнее. Конечно, было тяжело, но мало ли в жизни тяжелого, мой дорогой.

Она умолкла.

(Перевод Н. Галь и М. Лорие)

Кстати, знаменитая трилогия («Финансист», «Титан», «Стоик») многим моим друзьям помогала постигнуть азы финансового бизнеса, а Фрэнк Каупервуд – один из любимых героев моего младшего брата, превратившегося в послеавгустовской России из остепененного физика в директора банка.

В 16 лет я наталкиваюсь в своих книжных поисках на стихотворения О. Ф. Берггольц. И снова меня с головой захватывает то, перед чем я и по сей день не могу устоять: пространство жизни, трагической судьбы и биографии, которое чувствовалось за каждой ее строкой. Человеку с изошренной читательской культурой, избалованному тончайшими и многообразными оттенками и нюансами художественного слова, ее стихи могли и могут показаться слишком однозначными, прямолинейными и «лобовыми», но их просто невозможно воспринимать в

отрыве от тех событий жизни автора и страны, в гущу которых они рождались. Покоряла также страстность поэтического высказывания:

*Я так хочу, так верю, так люблю.
Не смейте проявлять ко мне участия.
Я даже гибели своей не уступлю
За ваше принудительное счастье...*

(«Друзья твердят: “Все средства хороши”...». 1949)

Ее «Дневные звезды» сразят меня окончательно. Это замечательный образец лирической исповедальной прозы, и я не перестаю сокрушаться, что условия подцензурного советского существования и надлом последних лет не позволили ей завершить свою «Главную книгу» (не раз встречающееся у нее именование «Дневных звезд»). Как и о других своих любимцах, я буду собирать все написанное самой Ольгой Федоровной и о ней. О том, какое впечатление произвел на меня и моих сверстников тоненький сборничек «Узел» со стихотворениями, созданными в годы тюремного заключения, я уже писала. А на склоне лет я потрясенно прочитаю ее дневники, сохраненные и опубликованные сестрой – М. Ф. Берггольц. В сущности, имя О. Ф. Берггольц тоже входит в мартиролог творцов, погубленных советским тоталитаризмом. Для меня, кстати, словосочетания «советский тоталитаризм» и «советская власть» отнюдь не синонимы. Советская власть – обозначение небывалого исторического эксперимента, перевернувшего судьбы практически всех населяющих Российскую империю, и вовсе не всегда к худшему. Наша семья, происходящая и с той и с другой стороны из беднейшего крестьянства, тому свидетельство. Советский же тоталитаризм – страшная цена этого эксперимента.

А Ольге Федоровне я даже написала письмо, в котором называла «Дневные звезды» советской «Жизнью Арсеньева» (о повести Бунина ниже). Послала я ей и свои вирши. Ответа, конечно, не получила – это 1965 год, ей тогда было ни до чего. Но недаром Тамара Жирмунская одно свое стихотворение начинала так:

*Возьмите в дочери, Ольга Федоровна,
меня.
А то замучил стыд.
Я что-то слишком уж оторвана
от правды и от простоты.*

(«Возьмите в дочери, Ольга Федоровна...». 1967)

Одним из самых запомнившихся мест в «Главной книге» О. Берггольц стало следующее:

...Индийская мудрость гласит, что человек должен пройти два пути в жизни: путь выступления и путь возврата. На пути выступления человек находится в тех своих личных границах, куда заключена часть единой жизни; человек живет главным образом только собой, живет корыстью чисто личной, жаждой «захвата», жаждой «брать» – для себя, для своего племени, для своего народа. На пути же возврата теряются границы его личного и общественного «я», кончается жажда «брать» и все более и более растет жажда «отдавать» – взятое у природы, у людей, у мира. Так сливается сознание и жизнь человека с единой Жизнью, с единым «я» – начинается его подлинное духовное существование.

В ранней юности я понимала вышеприведенное достаточно упрощенно, но, пожалуй, недалеко от истины: попросту говоря, сначала ты копишь все, что кажется тебе по-настоящему значимым, – книги, события, факты, друзей, возлюбленных, мысли, оценки, но позже насту-

пает период, когда хочешь и можешь отдать накопленное, иначе плоть твоего существования исчезнет без следа. Я счастлива, что осознание необходимости «пути возврата» и радости, которая ему сопутствует, пришло ко мне достаточно рано и совпало с выбором профессии. Главный смысл земного существования видится мне в радости отдавать – сыну, детям, близким и дальним, настоящему и будущему – и, конечно, постоянно заботиться о том, чтобы было что отдавать.

О Бунине. Первые достаточно полные послевоенные его издания относятся именно к 1965–1966 годам, и в нашем доме никак не могли пропустить «Темные аллеи» и «Жизнь Арсеньева». Помню, как я взахлеб восхищалась последней в кругу подруг: не то повесть, не то поэма, и невозможно оторваться, и дрожь пробирает до кончиков пальцев. Начинаю вновь пересматривать «точки отсчета» литературного мастерства: жизнь души – оказывается, ее можно отобразить не в поступках, не в сюжете, а в прямом лирическом прозаическом высказывании, и это высказывание по семантической и эмоциональной емкости будет равноценно первоклассной стихотворной речи:

...В далекой родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая, да покоится она в мире и да будет вовеки благословенно ее бесценное имя. Ужели та, чей безглазый череп, чьи серые кости лежат теперь где-то там, в кладбищенской роще захолустного русского города, на дне уже безымянной могилы, ужели это она, которая некогда качала меня на руках?..

В 1965 году «Новый мир» (любимый журнал нашей семьи) публикует «Дневник Нины Костериной», московской школьницы предвоенных лет, у которой в 1938-м арестовали отца и которая добровольно ушла на фронт осенью 1941-го, отчасти в надежде, что этот поступок поможет спасти отца. В ноябре того же 1941 года она погибла в ходе одной из партизанских операций. В том же отряде была и Зоя Космодемьянская. Хотя сама Нина назвала свои записки «Дневником обыкновенной девушки» (думаю, не без простительного кокетства), но по широте интересов, душевной цельности, самоотверженности, неустанной работе над собой она была, безусловно, человеком незаурядным, и недаром ее дневник сравнивали с «Дневником Анны Франк».

«Дневник Нины Костериной» стал моим первым знакомством с живой документалистикой. Было впечатление чуть ли не метемпсихоза: это я! Боюсь поверить своим ощущениям, но любимая подруга школьных лет Лара подтверждает: «Наташа, ты – Нина, я – Лена...» (Нинина лучшая подруга). С тех пор начинается мое пожизненное увлечение дневниками, которые я начну собирать: Мария Башкирцева, Анна Франк, Чуковские – отец и дочь, Юрий Нагибин, Нина Луговская, Любовь Шапорина... Постепенно осознаю, что жизнь любого думающего и рефлексирующего человека может стать фактом если не истории и литературы, то духовной культуры. Мемуаристика и документалистика как в моем теперешнем сознании, так и, пожалуй, в литературной действительности двухтысячных основательно потеснили художественную прозу. Трудно сказать, что тому причиной – может быть, небывалый трагический опыт России и мира XX века вкупе с поголовной грамотностью, плюс потеря доверия к профессиональному писательству, да еще отсутствие в дневниковой прозе четко организованного сюжета и нарратива, дающее возможность прервать чтение практически в любой момент – дань пресловутому «клиповому сознанию»... Возможные объяснения этим, наверное, не исчерпываются, но факт – факт налицо.

Кстати, в «Новом мире» «Дневник Нины Костериной» был опубликован без купюр, а последовавшее несколько лет спустя отдельное издание уже изуродовано цензурными изъятиями.

Еще одно яркое литературное впечатление времен хрущевской оттепели – повесть Бориса Балтера «До свидания, мальчики!» (1963). Свидетельствую, что среди моих сверстников она была намного популярнее повестей В. Аксенова («Коллеги», «Звездный билет», «Апельсины из Марокко»). Номер «Юности» с Балтером рвали из рук, зачитывали до дыр. Скопом ринулись на вскоре последовавшую экранизацию – одноименный фильм М. Калика. Обсуждали. Спорили. Цитировали. Расстраивались: почему у Балтера только одно произведение?

Люблю и перечитываю «Мальчиков» донныне. Замечательное по лиризму, искренности, акварельной четкости деталей, печали позднего прозрения осознание пути своего поколения, принявшего на себя всю тяжесть Великой Отечественной войны. «Я знал наизусть все ошибки Гегеля и Канта, не прочитав ни одного из них...»

Сейчас я задаюсь вопросом, почему из океана (ей-богу, не преувеличиваю!) юношеского чтения вспоминаются, да еще располагаясь одно подле другого, именно эти произведения: «Дневные звезды», «Жизнь Арсеньева», «До свидания, мальчики!», дневники. Пожалуй, именно потому, что в них налицо прямое или подспудное высказывание о судьбе поколения, а эта судьба в юности не может не волновать: ведь предстоит занять не чье-то чужое, а свое место в потоке истории. Конечно, внутренне такие вещи не проговариваешь, стесняешься, но на деле все обстоит именно так.

Рядом с повестью Балтера в моих воспоминаниях стоит тоненький сборничек «Сквозь время» (1964), собравший произведения четырех молодых поэтов, погибших на фронтах Великой Отечественной, – Павла Когана, Михаила Кульчицкого, Николая Майорова и Николая Отрады. Особенно помнится оттуда П. Коган:

*Мы, лобастые мальчики невиданной революции,
В десять лет – мечтатели,
В четырнадцать – поэты и урки,
В двадцать пять – внесенные в смертные реляции.*

(«Письмо». 1940)

С какой горечью я обнаружу в потоке мемуарной литературы 2000-х годов, что Павел Коган (кстати, автор знаменитой в те годы «Бригантины»), по всей вероятности, был осведомителем НКВД (безусловно, из лучших побуждений). И все-таки, все-таки не спешу его осуждать... Велика опасность упрощения структуры личности, особенно личности творческой, которая ловит все дары и удары времени, подвергается всем излучениям эпохи, как целительным, так и калечащим. В 1994-м массовому читателю стала доступной повесть В. С. Гроссмана «Все течет», в которой, в частности, скорбно, пронизательно и горько обрисованы разные типы доносчиков сталинского времени, и по поводу каждого из них автор предупреждает: «... не следует спешить, надо разобраться, подумать, прежде чем произносить приговор». Забегая вперед, скажу, что во всей нашей послевоенной литературе, включая Солженицына и Шаламова, я не встретила анализа советской эпохи, подобного гроссмановскому по глубине, силе и человечности вынесенного ей приговора. Время от времени обращаюсь к этому тексту, всякий раз открывая в нем новые грани, смыслы и глубину:

...Люди не хотели никому зла, но всю жизнь люди делали зло.

И все же люди были людьми. И чудное, дивное дело – хотели они того или нет – они не давали умереть свободе, и даже самые страшные из них берегли ее в своих страшных, исковерканных и все же человеческих душах.

Поэзия шестидесятников! Свидетельствую: утверждения о популярности Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной, Рождественского в те годы нисколько не преувеличены. Сборники стихов невозможно было достать, уж не говорю – купить, строки запоминались и цитировались, редкие лекции об их творчестве собирали огромные аудитории. Одну из таких лекций прочитала мама; помню, как затихли слушатели после цитирования стихотворения Вознесенского «Итальянский гараж»:

*...Лишь один мотоцикл притих —
самый алый из молодых.*

*Что он бодрствует? Завтра – Святки.
Завтра он разобьется всмятку!..*

*Мы родились – не выживать,
а спидометры выжимать!..*

*Алый, конченый, жарь! Жарь!
Только гонищу очень жаль...*

Все-таки, пожалуй, самым-самым из них был Евтушенко. Мне и по сегодня больше по душе его раннее творчество, с неподдельной искренностью и проникновенной мелодией интонаций. Его звуковые и метафорические находки в те времена были не натужны, на редкость уместны и принимались на ура:

*Тают отроческие тайны,
как туманы на берегах.
Были тайнами Тони, Тани,
даже с цыпками на ногах...*

(«Тайны». 1960)

И, конечно, покорила яркая гражданственность «Наследников Сталина», «Бабьего Яра», «Братской ГЭС». Несколько глав из этой поэмы он читал на своем авторском вечере у нас в Горьком в 1965 году. Мне посчастливилось попасть в битком набитый зал Филармонии (стояли и сидели в проходах, в дверях, на подоконниках), и многие строфы поэмы помнятся в его интонации. Читал он великолепно: живо, гибко, страстно, и вся его фигура, манера поведения, жесты, дикция, падающая иногда на глаза челка соответствовали произносимому. Нас с друзьями страшно расстроил и оскорбил снисходительный и критический отзыв об этом вечере в «Горьковском рабочем» – нашей вечерке, и я, не выдержав, написала в школьную стенгазету заметку «Поэты в Горьком», где постаралась отдать ему должное.

Удивительно, но старшее поколение (даже те его представители, которые питали очень немного иллюзий относительно сути «советского эксперимента») настроенно воспринимали и эту поэму, и поэзию Евтушенко в целом. Летом 1965 года во время отдыха на папиной родине, в Ветлуге, мама читала «Братскую ГЭС» всем присутствующим за столом, адресуясь в основном к деду, Василию Никифоровичу Русову. Дед был очень знающим и артистичным преподавателем русского языка и литературы в Ветлужском педучилище, обладателем обширной библиотеки (откуда я многое заимствовала), внимательным читателем и критиком прочитанного до последних своих лет. Кстати, он оставил интереснейшие воспоминания, которые я недавно, наконец, привела на компьютере в читабельный вид. Его студентки поголовно в

него влюблялись и даже специально прогуливались под окнами его домашнего кабинета, чтобы увидеть склоненный над тетрадками профиль, действительно на редкость красивый.

Так вот, дед поэму решительно не принял. Почему? Тогда я этого совершенно не поняла, просто была в недоумении и некоторой обиде. Инерция привычной ему и любимой классической стихотворной традиции? Или недовольство половинчатостью гражданской позиции автора? Теперь уже не у кого спросить. А меня дед шутливо называл «героиней» и, кажется, очень любил – судя по тому, с какой легкостью дарил мне дорогие для него экземпляры из своей библиотеки.

Несколько слов о стихотворении «Бабий Яр». Оно опубликовано в 1961 году, но потом долгое время не перепечатывалось и хранилось у нас в машинописном виде. Тема антисемитизма волновала меня с отрочества, так как в моем окружении было немало евреев – подруг, учителей, знакомых и друзей семьи, и для меня не являлись секретом частые проявления бытового антисемитизма, всегда мне отвратительные (скажем, реплика одной из соучениц относительно любимой учительницы Б. Я. Княжицкой: «Жаль, что она по-русски-то плохо говорит...»). В стихотворении Евтушенко я откликалась на каждую строчку, и когда в 1975 году оказалась в Киеве руководителем студенческой практики и поехала со своими девчонками в Бабий Яр (памятник уже стоял), то повторяла:

*И сам я
как сплошной беззвучный крик
над тысячами тысяч погребенных.
Я —
каждый здесь расстрелянный старик.
Я —
каждый здесь расстрелянный ребенок.*

А в 1960-е годы донимаю мать вопросами: за что так критикуют эти стихи? Мама неохотно пыталась отговориться тем, что погибали-то не одни евреи, но и русские... но видно было, что отговорки – так, для порядка, а стихи ей нравятся так же, как и мне.

Именно в те годы зарождается мое... нет, не «юдофильство», а саднящая боль от трагедии Холокоста, уважение и любовь к незаурядности многих качеств еврейского характера: к живости ума, иронии, скрытой национальной гордости. Много позже я прочитаю в романе В. С. Гроссмана «Жизнь и судьба» знаменитую главу об антисемитизме и соглашусь с каждым ее словом. А оказавшись на два дня в Израиле, мы с сыном на второй день, после Галилеи, поедem в «Яд Вашем», привезем оттуда иллюстрированный том о Холокосте, и он займет видное место на наших книжных полках.

К сожалению, годы не прибавили Евтушенко мудрости, а поэтический талант разменился и убывал на глазах. Даже пылкая гражданственная нота стала чаще и чаще фальшивить, и из его позднейших поэтических откликов на злобу дня тронули меня только две вещи: написанные в трагическом 1968-м, но прочитанные мной лишь в 1989-м «Танки идут по Праге» и «Прощание с красным флагом» (1992), в котором он опять попал в болевую точку моего поколения:

*Прощай, наш красный флаг...
Ты не принес нам благ.
Ты с кровью, и тебя
мы с кровью отдираем.*

*Вот почему сейчас
не выдрать слез из глаз —
так зверски по зрачкам
хлестнул ты алым краем.*

(Это стихотворение навеяно знаменитой сценой спуска красного флага над Кремлем в декабре 1991 года и заменой его на российский триколор. Сходные чувства испытывали почти все неравнодушные граждане канувшего в небытие СССР.)

В последние годы долгой своей жизни поэт, видимо, испытывал неодолимую потребность в исповеди, в трезвой и адекватной оценке собственного пути, особенно исходящей из уст дельного и нелицеприятно собеседника. Именно этим вызваны его многочасовые разговоры с Соломоном Волковым (знаменитым интервьюером Бродского), показанные по российскому телевидению и позже скомпонованные в отдельном увесистом томике. Болезненная ревность Евгения Александровича к единственному подлинному гению поколения – Бродскому – порождает жалость, недоумение, сочувствие, но не уважение.

Много споров вызывал молодой Вознесенский. Далеко не сразу приходило понимание его поэтического масштаба, но совпадение его стихотворного новаторства, его художественных поисков с тем, чего интуитивно ждали от искусства молодые, несомненно, и это заставляло нас гоняться за всеми его сборниками. Мы упивались отдельными блестящими находками и цитировали их друг другу:

*В ревью
танцовщица раздевается, дуря...
Реву?
Или режут мне глаза прожектора?..*

(«Стриптиз». 1961)

*...Все выгорело начисто.
Милиции полно.
Все – кончено!
Все – начато!
Айда в кино!*

(«Пожар в Архитектурном институте». 1957)

*Я Мерлин, Мерлин.
Я героиня
Самоубийства и героина...*

(«Монолог Мерлин Монро». 1963)

Позже придет некоторое разочарование. Многих оттолкнет конформистское «Лонжюмо», где «на все вопросы отвечает Ленин», пресловутый призыв «Уберите Ленина с денег» (который, кстати, в том 1967 году некоторые считали чуть ли не революционным), но поэма «Авось» (1970), прославленная спектаклем Ленкома, вновь покорила всех:

*...И вздрогнули ризы, окладом звеня.
И вышла усталая и без наряда.
Сказала: «Люблю тебя, глупый. Нет сладу.*

Ну что тебе надо еще от меня?»

В моей читательской биографии этот поэт событием не стал, хотя я полностью отдаю должное его изощренному мастерству и широте поэтического взгляда. Не хватает искренности, раскаяния, суда над собой, глубины, отталкивают (иногда) цинизм и самолюбование. Хотя кое-что до сих пор трогает:

*Убил я поэму. Убил, не родивши. К Харонам!
Хороним.
Хороним поэмы. Вход всем посторонним.
Хороним...*

(«Плач по двум нерожденным поэмам». 1965)

Позже меня восхитят его «видеома» – коллажи из фотографий и графическо-живописных конструкций, зримо воплощающие крепнувший на рубеже веков синтез разных искусств.

Роберта Рождественского трудно было воспринимать всерьез, но даже подсмеивались над ним добродушно: нравились, и не могли не нравиться, многие его песни. А вот поздняя, предсмертная лирика оказалась большой поэзией:

*Тихо летят паутинные нити.
Солнце горит на оконном стекле.
Что-то я делал не так;
извините:
жил я впервые на этой земле...*

(«Тихо летят паутинные нити...». 1993)

Насчет того, что он «делал не так», сам поэт с беспощадной откровенностью высказался в одном из моих любимых стихотворений, в котором я многое увижу между строк и о себе:

Юноша на площади

*Он стоит перед Кремлем.
А потом,
вздыхнув глубоко,
шепчет он Отцу и Богу:
«Прикажи...
И мы умрем!..»
Бдительный,
полуголодный,
молодой,
знакомый мне, —
он живет в стране свободной,
самой радостной стране!
Любит детство вспоминать.
Каждый день ему —
награда.
Знает то, что надо знать.*

*Ровно столько,
сколько надо.
С ходу он вступает в спор,
как-то сразу сатаня.
Даже
собственным сомненьям
он готов давать отпор.
Жить он хочет не напрасно,
он поклялся
жить в борьбе.
Все ему предельно ясно
в этом мире
и в себе.
Проклял он
врагов народа.
Верит, что вокруг друзья.
Счастлив!..
...А ведь это я —
пятьдесят второго года.*

1992

Было что-то бесконечно обаятельное и простодушное в его облике и нравственной структуре. В 2009 году я сочувственно прочитаю описание его похорон в нашумевшем (и, кстати, очень фальшиво экранизированном) романе В. Аксенова «Таинственная страсть» (напоминаю: Ян Тушинский – Евгений Евтушенко, Роберт Эр – Роберт Рождественский, Ваксон – Василий Аксенов):

...Вел панихиду Ян Тушинский, и делал он это с безупречным тактом и с подлинной глубочайшей грустью. Он приглашал людей сказать слова прощания, а в промежутках читал стихи Роберта.

...Играл рояль. На возвышение поднимались друзья Роберта, композиторы-песенники. К микрофону один за другим подходили певцы... Звучало то, что можно было бы назвать «массовой лирикой» умирающего Советского Союза, то, что сделало Роберта Эра народным поэтом:

*«Луна над городом взошла опять...»
«А это свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала...»
«Вы не верьте в мою немоту...»
«Сладка ягода в лес поманит...»
«Песни главные есть в судьбе любой: колыбельная и поминальная...»
«Не думай о секундах свысока...»
«И живу я на земле доброй за себя и за того парня...»
«Такие старые слова, а как кружится голова...»
«Не только груз мои года, мои года – мое богатство...»
«Дайте до детства плацкартный билет...»*

Ваксон медленно передвигался в толпе, чтобы увидеть профиль Роба... Здесь было много «гвардейцев» развалившейся Империи: космонавты, например, творцы различных секретных «изделий», бонзы агитпропа и дезинформации, лауреаты Сталинских и Ленинских премий,

солисты Большого балета и чародеи фигурного катания... ну, в общем, читатель, припомни сам, на ком держался в пучинах времени коммунистический кашалот. Все они привыкли считать Роберта Эра одним из основных «преторианцев», и увидеть среди скорбящих «антисоветчика» Ваксона было для них курьезом...

Пожалуй, самый большой дар в этой великолепной четверке Бог отпустил Ахмадулиной, да и облик ее не запятнан ни одним пошлым компромиссом, ни творческим, ни человеческим. Нельзя не пожалеть о слишком узкой и неполной реализации этого таланта. А ведь могла:

*Плоть от плоти сограждан усталых,
хорошо, что в их длинном строю
в магазинах, в кино, на вокзалах
я последнею в кассу стою —
позади паренька удалого
и старухи в пуховом платке,
слившись с ними, как слово и слово
на моем и на их языке.*

(«Это я». 1950)

Как мы ловили ее редкие появления на телеэкране в годы застоя, как заворуженно вслушивались в ее распевную и отрешенную интонацию:

*...С улыбкой грусти и привета
открыла дверь в тепло и свет
жена литературоведа,
сама литературовед...*

*...Придвинув спину к их камину,
пока не пробил час поэм,
за Мандельштама и Марину
я отогреюсь и поем.*

(«Описание обеда». 1967)

С наслаждением перечитываю ее «Сказку о дожде» (1962) и «Приключение в антикварном магазине» (1964), в конце которого она с полным правом воскликнула:

*Но нет, портрет живет в моем дому!
И звон стекла! И лепет туфель бальных!
И мрак свечей! И правнук Ганнибалов
к сему причастен – судя по всему.*

Да, «литературоцентричность» моего поколения во многом сформирована поэзией и прозой оттепели. Стойкое чувство, что в книгах можно найти ответы на самые жгучие вопросы, которые и друзьям, и родителям-то не задашь, выросло из тех лет. Стихам, повестям, романам мы обязаны тем, что рано ощутили свою возможную причастность к жизни страны и, как могли, готовились к этой причастности: серьезно относились к выбору профессии, старались осмыслить происходящие события и критически отнестись к ним. «Литературоцентричность» постепенно перерастала в «культуроцентричность», в жадную потребность приобщиться не только к доселе скрытой русской, но и к мировой культуре. Неоценимую роль в процессе этого

приобщения сыграли мемуары И. Г. Эренбурга. «Люди, годы, жизнь» – одна из главных книг моего поколения.

Сколько окон в мировую культуру распахнула перед нами эта книга, с каким неудержимым интересом читалась и перечитывалась! Знаменитое определение Пастернака «Книга есть кубический кусок горячей, дымящейся совести» подходит к эренбургским мемуарам в высшей степени. Этот кусок живой и честной истории страны, мира, искусства, отдельной личности поглощался с неослабевающим аппетитом. Помимо невероятной информативности, привлекало то, что перо мемуариста оставалось пером поэта. Я это чувствовала особенно остро и с радостью прочитала позже телеграмму Ахматовой, посланную к 70-летию писателя: «Строгого мыслителя, зоркого бытописателя, всегда поэта поздравляет сегодняшним днем его современница Анна Ахматова».

Уже в 2000-х, держа в руках том большой серии «Библиотеки поэта», я буду вчитываться в предсмертные стихотворения Ильи Григорьевича, и просто мурашки побегут по коже от их обнаженной исповедальности и строгого мастерства:

*Пора признать – хоть вой, хоть плачь я,
Но прожил жизнь я по-собачьи,
Не то что плохо, а иначе...*

(«Пора признать – хоть вой, хоть плачь я...». 1964–1966)

*Давно то было. Смутно помню лето,
Каналов высохших бродивший сок
И бархата спадающий кусок —
Разодранное мясо Тинторетто.
С кого спадал? Не помню я сюжета...*

(«Сонет». 1964–1966)

О своих же собственных мемуарах Эренбург отозвался в одноименном стихотворении «Люди, годы, жизнь»:

*На кладбище друзей, на свалке века
Я понял: пусть понижен и поник,
Он все ж оправдывает человека,
Истоптанный, но мыслящий тростник.*

Мама с отцом, оказавшись в 1967 году в Москве в командировке, поклонились его свежей могиле на Новодевичьем кладбище.

Не могу не сказать о том, что мемуары Эренбурга вызвали неприкрытую злобу у определенной и, увы, вряд ли малочисленной части общества, прежде всего у явных или скрытых сталинистов, поклонников Кочетова и К^о. Я часто бывала дома у моего тогдашнего поклонника, Вадима, и хорошо помню, как его отец, что называется, с пеной у рта рассказывал о якобы несметном богатстве «этого еврея», о роскоши его «имения» в Новой Истре... Ну откуда все это шло? А ведь шло откуда-то. Достаточно прочитать «Случай Эренбурга» Б. Сарнова, воспоминания дочери Ирины и т. д., чтобы оценить масштаб «накоплений» Ильи Григорьевича.

Мемуары Эренбурга подтолкнули меня к знакомству с европейской поэзией; к тому же советская практика переводов была уникальной, одной из лучших в мире – по вполне

понятным и прозрачным ныне причинам: если нельзя писать и публиковать свое, обратимся к чужому и уж там дадим себе волю.

До сих пор нежно вспоминается Юлиан Тувим, его прелестная «Наука» в переводе Д. Самойлова:

*Всем премудростям я обучался:
Логарифмы, задачи, квадраты.
Грыз я формулы. Запанибрата
С бесконечностью я обращался.
<...>
Знаю все: про янтарь, про погоду,
Как устроено зреньё у мухи,
Что тела, погруженные в воду,
И так далее, в этом же духе...*

Витезслав Незвал, в замечательном переводе К. Симонова:

*С Богом! Ну что ж! Как ни странно, мы оба не плачем.
Да, все было прекрасно. И больше об этом ни слова.
С Богом! И если мы даже свиданье назначим,
Мы придем не для нас – для другой и другого...*

Кстати, неудивительно, что эти стихи так хороши именно в переводе Симонова – вспомним «С тобой и без тебя». Кому, как не ему, переводить мужские стихи о любви. Симонову же принадлежит мой любимый перевод «Дурака» Р. Киплинга, с великолепной иронией и обаянием мужского характера:

*Жил-был дурак. Он молился всерьез
(Впрочем, как Вы и Я)
Тряпкам, костям и пучку волос —
Все это пустою бабой звалось,
Но дурак ее звал Королевой Роз
(Впрочем, как Вы и Я).*

И наконец, Федерико Гарсиа Лорка, над «Гитарой» которого в волшебном переводе М. Цветаевой обмирали и я, и мои подруги:

*Начинается
Плач гитары.
Разбивается
Чаша утра...*

Перечислить все культурные факты, которые открывались в воспоминаниях Ильи Григорьевича, просто невозможно. Чего стоит разбуженный им интерес и вкус к живописи! Но вернусь к литературе.

В 1964–1965 годах до нашего города начинают доходить томики Марины Цветаевой. Это, пожалуй, самое сильное и стойкое поэтическое впечатление моей юности, переросшее в пожизненное пристрастие к ее творчеству. Удар и потрясение последовали по всем направлениям:

стихи, проза, характер, судьба. Моя одержимость Цветаевой была настолько сильна и очевидна, что Сережа на мое совершеннолетие (1966) подарит мне том из Большой серии «Библиотеки поэта», раздобытый ни больше ни меньше как у делегата очередного (XXIII) съезда КПСС, где дефицитные книги продавались свободно и в широчайшем ассортименте. Подарок поистине королевский. А мой первый муж Саша на «английское совершеннолетие» (21 год) привезет мне из Москвы переписанный от руки в школьной тетрадке «Лебединый стан»; еще позже преподнесет собственноручно выполненный маслом портрет Цветаевой, который висит у меня до сих пор.

С годами все яснее обнаруживалась неисчерпаемость ее творчества. В первой юности западало в душу все про любовь:

*Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес,
Оттого что лес – моя колыбель, и могила – лес...*

(«Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес...». 1916)

*Как живется вам с другою, —
Проще ведь? – Удар весла!..*

(«Попытка ревности». 1924)

*Я и в аду тебе скажу:
«Мой милый, что тебе я сделала?»*

(«Две песни. 2». 1920)

Конечно же, «Поэма Горы» и «Поэма Конца»... Еще позже самой исчерпывающей формулой любви для меня окажется:

*Ятаган? Огонь?
Поскромнее, – куда как громко!*

*Боль, знакомая, как глазам – ладонь,
Как губам —
Имя собственного ребенка.*

(«Любовь». 1924)

Притягивала тема смерти, которая впервые осознавалась во всей своей неотвратимости:

*Уж сколько их упало в эту бездну,
Разверстую вдали!
Настанет день, когда и я исчезну
С поверхности земли...*

(«Уж сколько их упало в эту бездну...». 1913)

Завораживало ощущение своей «непохожести», знакомое в юности всем:

*Вы, идущие мимо меня
К не моим и сомнительным чарам, —*

*Если б знали вы, сколько огня,
Сколько жизни, растроченной даром...*

(«Вы, идущие мимо меня...». 1913)

Восхищала невероятная воля к труду, вера в свое призвание:

*Так будь же благословен —
Лбом, локтем, узлом колен
Испытанный, — как пила
В грудь вѣвевшийся — край стола!*

(«Стол. 1». 1933)

Не преувеличу, если скажу, что после чтения Цветаевой менялся состав крови. Стихи становились воздухом, необходимым для жизни.

С возрастом глубже осознавались строки о России и ее судьбе:

*«Россия моя, Россия,
Зачем так ярко горюшь?»*

(«Лучина». 1931)

*...Но если по дороге куст
Встает, особенно — рябина...*

(«Тоска по родине! Давно...». 1934)

Поразят цветаевские прозрения:

*...И в словаре задумчивые внуки
За словом: долг напишут слово: Дон.*

(«Дон». 1918)

А чего стоит крохотное стихотворение 1934 года:

*А Бог с вами!
Будьте овцами!
Ходите стадами, стаями
Без меты, без мысли собственной
Вслед Гитлеру или Сталину*

*Являйте из тел распластанных
Звезду или свасти крюки.*

Как она права в том, что только потеря людьми собственной индивидуальности делает возможными ужасы тоталитарных режимов.

Когда у меня будет подрастать собственный сын, я совсем другими глазами перечитаю стихи, посвященные маленькой Але:

Ты будешь невинной, тонкой,

*Прелестной – и всем чужой.
Пленительной амазонкой,
Стремительной госпожой...*

(«Але. 1». 1914)

И на склоне лет, уже похоронив и мать, и отца, с задавленными слезами вчитываюсь в строфы, названные «Отцам»:

*...Поколение, где краше
Был – кто жарче страдал!
Поколение! Я – ваша!
Продолжение зеркал.
.....
До последнего часа
Обращенным к звезде —
Уходящая раса,
Спасибо тебе!*

(«Отцам. 2». 1935)

А волшебство цветаевской прозы! «Мать и музыка», «Сказка матери», «Мой Пушкин», «Живое о живом»... И, конечно, «Искусство при свете совести».

Цитировать можно до бесконечности. Попробую подвести итог: что же дала мне Цветаева?

– Восхищение силой творчества, могуществом поэзии, преображающей и даже пересоздающей мир; изумление перед глубиной и необычностью этой пересозданной действительности.

– Гордость за Россию: такого поэта могла дать миру только она. И греховная мысль: возможно, все боли, беды, трагедии России XX века оплачены появлением в ореоле мученичества этой гениальной четверки: Цветаева, Пастернак, Мандельштам, Ахматова. В сущности, что мы, русские, предъявим миру на Страшном суде? Прежде всего свою литературу...

– Цветаева научила меня вчитываться и вживаться в каждое поэтическое слово, внушила страсть к его разгадке. Любовь к русскому языку, тревога за него, осознанный восторг перед ним идут из тех лет.

– Наконец, судьба Марины Цветаевой и всей ее семьи стали моей болью, не иссякающей до сегодня. Физически невыносимо ощущать страшную, тупую жестокость, с которой Советская Россия отнеслась к Ариадне Эфрон, Сергею Яковлевичу, Георгию (Муру), Анастасии Цветаевой. В течение многих лет я собирала всю литературу, все источники об этой семье, и больше всего меня задевает то, что порядочность, незаурядность, талантливость этих людей были очевидны всем – и что же? Да ничего, только хуже и горше становился их жребий.

Еще Софья Парнок сказала о совсем молодой Марине:

*Ты, проходящая к своей судьбе!
Где всходит солнце, равное тебе?*

(«Следила ты за играми мальчишек...». 1915)

Кстати, о бисексуальности Цветаевой: для целомудренного до ханжества советского общества это оказалось, конечно, отталкивающей чертой (в чем сознавались, в частности, мой

брат Коля и многие мои друзья). У меня, однако, при всей моей традиционной ориентации это обстоятельство отторжения не вызвало. Ведь оно ничему не помешало в ее творчестве, а может, и помогло. При всей поглощенности личными переживаниями, в частности романом с С. Парнок, только Цветаева в декабре 1920 года смогла подвести такой итог кровавой Гражданской войне:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.